

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 21

1989



Владимир ЛАКШИН

**ТВАРДОВСКИЙ
В «НОВОМ МИРЕ»**

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 21

Издается с января 1925 года

Владимир ЛАКШИН

ТВАРДОВСКИЙ
В «НОВОМ МИРЕ»

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1989

Владимир ЛАКШИН

Владимир Яковлевич Лакшин родился в Москве в 1933 году. В 1955 году окончил филологический факультет МГУ им. Ломоносова и аспирантуру по кафедре русской литературы. Три года преподавал в МГУ. Доктор филологических наук (1982), член-корреспондент Академии Педагогических наук СССР (1989).

Первую рецензию напечатал будучи студентом, постоянно печатается с 1958 года. В 1962—1970 годах работал в журнале «Новый мир» ближайшим сотрудником А. Т. Твардовского. Автор книг: «Толстой и Чехов» (1963), «Островский» (1975), «Биография книги» (1979), «Вторая встреча» (1984) и др., статей по советской, зарубежной и русской классической литературе. В 1986 году опубликована повесть Лакшина «Закон палаты». Книги и статьи Лакшина переводились на английский, французский, болгарский, венгерский, польский, финский, итальянский и другие языки.

В 1978—1986 годах по сценариям Лакшина и с его участием как ведущего Центральным телевидением демонстрировались фильмы о русских писателях-классиках («Путешествие к Чехову» и др.).

С начала 1987 года — первый заместитель главного редактора журнала «Знамя».

И хотя бы мы были заняты самыми важными делами, достигли почестей или опали бы в какое великое несчастье — все равно не забывайте никогда, как нам было раз здесь хорошо, всем сообща, соединенным таким хорошим и добрым чувством... Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впрямь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание... Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно такое хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

УТРЕННИЙ ЧАС

Бытовала такая фраза: «Незаменимых нет». Твардовского она удручала. Это неверно, замечал он, бывают люди в науке, искусстве, да и не только в этих областях деятельности, которых нечем заменить, без которых окружающий мир становится скуднее, тусклее.

Вот уже почти два десятилетия, как нет среди нас Твардовского. А чувство, что ему не нашлось, да и не могло найтись замены, окрепло на расстоянии прожитых без него лет.

Твардовский узнал, что день рождения его — 21 июня, незадолго перед войной. Быть может, в деревенской многодетной семье не придавали большого значения тому, в какой день кто из ребят родился на свет. Во всяком случае, Александр Трифонович долго не знал этого с достоверностью и называл почему-то другую дату.

Большое впечатление произвело на него семейное придание, что мать родила его в пору сенокоса, прямо под елью, стоявшей на опушке, а соседка, принявшая роды, доставила младенца домой, облепленного хвоей.

И не были эти в обиду мне слухи,
Что я из-под елки, и всякие толки,—
Зато, как тогда утверждали старухи,

Таких, из-под елки,
Не трогают волки...

В этом шутовском стихотворении Твардовский говорил, что разные «волки» не однажды подбирались к нему:

Едят, но недаром же я из-под ели.
Отнюдь не сказать, чтобы так-таки съели.

Твардовский родился в самый долгий, самый светлый день в году. Он не любил сумерки, в особенности предвечерние, «час меж волком и собакой», и однажды признался мне (мы сумерничали на террасе дачи), что ему просто не по себе, когда он остается один в эту пору дня. Любимым его временем суток было раннее утро.

Час мой утренний, час контрольный,—
Утро вечера мудреней,—
Мир мой внутренний и окольный
В этот час на смотру видней.

Как-то он подосадовал, что, вставши рано, читал чужие (и плохие) стихи в рукописи, убил на них утро — синее, прохладное, свежее — «а много ли у меня осталось этих утр?»

ТАК БЫЛО

А. Т. — расписывался он на верхнем углу рукописи или верстки «Нового мира». Значило: прочел и не возражаю, можно печатать. Иногда спрашивал о какой-то рукописи: «А я поставил на ней А. Т.?» Это — как личная гербовая печать. И между собою, за глаза, конечно, мы звали его часто Трифоньч или «Атэ». Пока вымолвишь имя и отчество, а так — и коротко, и складно.

Сотрудникам по редакции, среди которых образовалось немало и личных его друзей, в голову не могло прийти звать его, как часто случается слышать, «Шеф» или «Главный». Когда разбитные литературные люди спрашивали меня: «Ну как там шеф?», я не сразу понимал, кем они интересуются. Какой-то другой род отношений сложился между нами, и от этого только крепче стоял его огромный авторитет.

* * *

Быстро потухает память поколения. Спрашиваешь себя — не рано ли писать о Твардовском? Не было бы поздно. Что до меня, то почти нет дня, чтобы я не вспоминал Твардовского, — его слова, шутки, оценки людей и книг.

Не помню только почему-то, как увидел его впервые. Это было, наверное, весной 1954 года в старом здании «Нового мира» на углу улицы Чехова. Чтобы попасть в разгороженные клетушки редакции, надо было подняться по роскошной барской лестнице с зеркалами во всю стену над ней. Студентом я приносил в журнал свои первые рецензии и, помнится, встречал Твардовского в коридоре или на этой лестнице: он стоял с кем-то, пальто нараспашку, — тогда я мог лишь почтительно наблюдать его издали. Но эти ранние впечатления стерлись, заслонились потом годами близкого общения с ним, и мне кажется иной раз, что я знал его всегда.

* * *

Большой, высокий, крупный, медвежье в фигуре что-то. В плечах широк, чуть сутулится, голова крепко пришита к телу. Сразу, едва войдя, он заполнял собой комнату — у комнаты появлялся центр. Сколько бы ни было в ней людей — все силовые линии располагались мгновенно к нему, все от него намагничивалось.

Обыкновенно он приезжал в редакцию в середине дня. Медленно, в последние годы с одышкой, поднимался по лестнице, здороваясь со встречавшимися сотрудниками. Наклонял свою тяжелую голову слегка, но со значением, с уважением. В проходной комнате, служившей приемной, приветствовал Софью Ханановну Минц, отрывавшуюся на мгновение от машинки, входил к себе в кабинет, бросал на стол истертый желтый портфель с прочитанными рукописями и верстой, и шел в каморку ответственного секретаря узнать, какие новости.

В коричневом просторном костюме, широкоплечий, плотный, он присаживался на низкий диванчик, вынимал зеленую пачку сигарет «Ароматные», закуривал, слушал внимательно, взглядывая исподлобья, покачивая головой. Потом возвращал к себе и садился просматривать почту. Тут же отвечал на письма, часто мелко исписывая обороты отслуживших календарных листков, и Софья Ханановна, перебивив их на машинке, возвращала ему на подпись.

Все наличные в этот час «соредакторы», как он нас неизменно по-старинному величал, узнав, что он приехал, без зова стекались к нему в кабинет.

Он сидел за большим, с массивными тумбами столом, в старомодном канцелярском кресле с прямой спинкой и твердыми подлокотниками. Закончив с почтой, снимал очки, совал их в нагрудный карман, а из

портфеля вынимал верстки со своими пометками. И начиналась обычная необъявленная редколлегия без предварительной повестки дня — разговор о прочитанных рукописях, о текущих новостях, о том, что давать в очередную журнальную книжку.

На верстках, помимо его обычного «А. Т.» или «Воздержаться», были его отчеркивания, иногда правка, по поводу которой он подробнее изъяснялся устно.

Ему чужды были мелкие придирки, исходящие из редакторских опасений, выискивание «подтекста» и т. п. Он с текстом имел дело, и ему важно было общее впечатление и направление повести или статьи. Главное — правдиво или не правдиво, добавляет ли что-то существенное к пониманию вещи или нет. И, наконец, как написано — умелым пером или «плотничьим карандашом»?

Правил он, и обычно неопровержимо, приблизительные, случайно подвернувшиеся словечки. Особенно был придирчив к описаниям природы, крестьянского обихода, фронтового быта, того, что сам знал до точки. Вот пример, мне запомнившийся: в повести Айтматова была фраза: «Крепкие, как топором обтесанные скирды...» Казалось бы, недурно сказано. Но Твардовский правит в верстке: «Гладкие, как гребнем очесанные скирды...» Как точна и бережна его замена! Не нарушен даже ритм фразы, а образ стал правдивее, точнее.

Как-то совестил при мне литератора, допустившего оплошность в описании конской упряжи. И когда тот заупрямился — в наших краях-де так было, — Твардовский предложил ему: перескажите по порядку, как коня запрягают. И поглядывал на него с укоризной, когда тот путался: седелка, хомут, шлея, уздечка...

Если он приходил под впечатлением новой, только что прочитанной дома вещи, то тут же, что называется «сосвежа», высказывался о ней. Вот он прочел повесть Сергея Залыгина «Перекос», позже названную «На Иртыше», и «заражен» ею:

— Может нелегко будет напечатать, да и критики заедят, но вещь стоящая. Ведь о сибирском крестьянине, о коллективизации в Сибири так никто не писал... Для Залыгина это рывок. И написано густо.

Он развязывает тесемки на папке и открывает первую страницу:

— Только не надо начинать так: «Бурило сильно... Избы по самые крыши замело...» и тому подобные красоты природы. Все это тысячу раз было. А надо: «21 марта 1931 года в селе Красный Кут сгорел амбар с посевным материалом». И дальше сразу картина — кто как к этому отнесся, что говорил и т. п.

Твардовскому повесть нравится, он говорит о ней с той пристрастной горячностью, какая всегда является у него, когда он как читатель и редактор неравнодушен к вещи, уже считает ее как бы «своей».

Время от времени в кабинете А. Т. появляются авторы — кто с новой рукописью, кто за предварительным советом, а кто просто забежал на огонек. Бек, Симонов, Соколов-Микитов, Домбровский, Яшин, Эрен-

бург, Федин, Казакевич, Панова — это если только вспоминать ушедших. Вообще же, кажется, вся живая литература 60-х годов прошла через этот кабинет.

«Соредакторы» то расходятся по своим кабинетам, то снова заглядывают к Твардовскому. «Когда у вас заседает редколлегия?» — спрашивали у А. Т. «Всегда, когда я в редакции», — отвечал он обыкновенно.

Он любил литературное дело, когда это было дело, а не форс, не поза. С сомнением поглядывал на литераторов, курящих трубку («под Эренбурга») или заводивших конторку, чтобы писать стоя («под Хемингуэя»). Любил атмосферу литературных интересов, если к ней не примешивалась официальщина или салонная болтовня. Пустые мероприятия на литературной почве он называл «водосвятиями» и терпеть не мог сидеть в президиуме лишь для того, чтобы «светить глазами».

Твардовский смеялся над трафаретной формой поздравлений, в изобилии приходивших ему к праздникам и отпечатанных в типографии, частично золотом на глянцевого бумаге: «Дорогой друг! Желаем Вам успехов в творчестве и счастья в личной жизни!» «Кто это ко мне так обращается, хотел бы я знать?» — иронически недоумевал он. «Кому это я друг, да еще дорогой? И что значит: «успехов в творчестве и счастья в личной жизни»? Неужели поздравитель полагает, что мое творчество — это не моя личная жизнь?»

Сам А. Т. положил себе правилом к большинству поздравительных карточек, которые рассылались журналом к Новому году, Маю и Октябрю, прибавить хотя бы несколько личных, адресату направленных строк. А рассылалось этих карточек всякий раз 200—300 штук, так что пальцы болели подписывать. «Рука бойцов колоть устала...» — шутил А. Т., поднимая глаза над грудой плотных бумажных прямоугольничков с «фирмой» «Нового мира» в уголке.

А. Т. любил журнал, его голубую строгую обложку, с каким-то чувством радостного изумления брал в руки сигнальный экземпляр: «Скажите, вышел!» Держал его в руках, переворачивал, нянчил, как младенца. Потом внимательно прочитывал оглавление.

Давать название рукописи, «крестить» ее было обычно его привилегией. Он и нас всех вызывал соревноваться в придумывании названия, если авторское не подходило. Но редко кто мог составить ему конкуренцию. Им были придуманы названия «На Иртыше», «Семеро в одном доме», «Годы и войны», да и множеству других повестей, рассказов и статей стал он крестным отцом.

Перевернув свежую книжку журнала, Твардовский долго разглядывал как-то пустую заднюю обложку:

— Послушайте, а нельзя здесь что-нибудь печатать? Хотя бы рекламу какую...

Как рачительный крестьянин он не хотел оставлять незасеянным и клочка пахотной земли.

День шел своим чередом, и, бывало, обнаруживалась необходимость послать в издательство или типографию какую-то деловую бумагу. А. Т. брался за перо. Считалось почему-то, что никто не составит прошения или ходатайства лучше самого Твардовского.

— Я единственный человек в редакции, который умеет грамотно составить казенную бумагу,— комически возмущался А. Т., безропотно садясь за очередную «слезницу».— Приходил тут недавно завхоз из «Известий», к которому я непрерывно пишу, и, увидев меня издали со спины, сказал ядовито: «А-а, это ваш главный писатель...»

Твардовский приобрел даже как-то пособие по составлению деловых бумаг, прочитал его внимательно, но с разочарованием объявил, что не нашел для себя ровно ничего нового.

Как-то А. Г. Дементьев, просматривая написанный Твардовским официальный документ, обратил его внимание на показавшийся ему неудачным оборот.

— Тут, Саша, что-то другое нужно, какое-то другое слово.

— Какое? — заворчал А. Т., уже измаявшийся составлением бумаги.

— Ну, знаешь, какое-то другое. Не могу сказать, но что-то вроде...

— Ах, не можешь сказать... На этот случай имеется только 16 слов, а 15 из них мы уже использовали,— решительно отрубил А. Т.

Зато с какой свободой и лукавством использовал он эти штампы «канцелярита», ставя их в неожиданное соседство с живыми словечками народного языка в своей поэзии. Он и из мертвого источника умел черпать живую воду и заставлял виртуозно служить своим целям, в особенности в «Теркине на том свете». «Я это зверье давно знаю»,— говорил он о бюрократах, а уж язык их был изучен им до точки.

Тем временем в кабинет вносили стаканы с чаем на подносе с изображением райских птиц и мягкие свежие бублики, доставлявшиеся по просьбе А. Т. из голубого павильона с угла улицы Чехова и Садового кольца. Начиналось традиционное чаепитие.

Обсуждались насущные журнальные дела, а потом шел вольный, неторопливый разговор о книгах, новостях политики, литературы,

Целинных землях и Шекспире,
Вреде вина и табака
И обо всем на белом свете
Беспротокольный склад речей,—
Ты лишь у смеха на примете
На случай глупости твоей...

Набегал кто-нибудь из периферийных авторов или «ближайших сотрудников», и разговор еще более оживлялся.

Мне понравилась мысль, высказанная в одной из статей (И. Ростовцевой), что Твардовский, когда глядел на человека и разговаривал с ним, делал это не в масштабе нынешнего случая встречи, а как бы задумыва-

ясь о всей судьбе человека, с которым говорил, и от него ожидая такого же крупного ответа о себе. Это очень верно.

Не было тут и тени претензии на исторический миг, который должен быть оценен и закреплён, не было и позы великого человека, собравшегося учить собеседника. Весь строй разговора — его очевидная простота, замечания и распросы о самом обыкновенном, житейском, готовность к шутке, — словом, никакой возможности встать на котурны. А вместе с тем разговор с Твардовским нередко распахивал перед тобой весь горизонт жизни, заставляя оценить ее и себя в ней по-новому.

Товарищество с ним было трудное, но отрадное — надо было все время за ним тянуться. У него было органическое понимание масштаба, чутье существенного в жизни. И никакой при этом плоской дидактики или позы — все попросту, все вровень. Я уж не говорю об отвращении к панибратству. Едва ли не всех вокруг, кто был моложе его, звал по имени и отчеству. Не терпел легких «ты», тем более «ты» односторонних. Невозможно представить его выслушивающим подогретые излияния в любви и заверения в преданности.

Он очень следил за своим поведением и речью — как человек застенчивый, ставший по судьбе общественным и бывший на виду, то есть со множеством людей пересекавшийся: ничего лишнего, нет слов пустых — и это сообщало ему величавость.

Издати он мог показаться даже высокомерным. Популярность его имени направляла к нему бездну тяготений и интересов, не всегда содержательных и бескорыстных, и он вынужден был охранять себя от чужой бесцеремонности.

Его побаивались. Побайвались не столько его гнева, сколько искренности и серьезности. В глаза его мог смотреть не всякий. Он умел сказать все, что о тебе думает, храня верность завету:

Хлеб-соль ешь, а правду режь...

Даже люди, привыкшие распоряжаться и «советовать», робели перед ним — перед открытостью и убежденностью его суда.

Лишенный внешнего лоска, он обладал вместе с тем врожденным тактом и почти аристократической воспитанностью. Сын смоленского крестьянина, он свято чтит все формы, обиходы и понятия вежливости. В том, как он здоровался, как прощался, учтиво склоняя голову чуть набок, глядя в глаза собеседнику и протягивая с легкой улыбкой широкую ладонь, была какая-то даже чуть церемонная уважительность. Она равно распространялась на Маршала Советского Союза, члена английского парламента, посетившего редакцию, и на старушку-уборщицу Ксению Гавриловну, заглянувшую в дверь, чтобы спросить: «Стаканы свободны, Александр Трифонович?»

Можно утверждать даже, что он культивировал формы вежливости, понимая, по-видимому, дело так, что эти внешние знаки человече-

ского общения, пускай сугубо условные, путь к навыкам взаимной уважительности.

Выговаривал кому-то: если тебе позвонили по телефону, а тема разговора исчерпана и надо прощаться, ты не можешь первым сказать «До свидания» — разговор кончает тот, кто тебе звонит.

От чужой грубости, неделикатности он страдал иной раз почти физически, но ничто в его величавой фигуре и серьезном округлом лице не выдавало этого.

Это не значит, что он не бывал резок с неприятными ему людьми, случалось, взрывался. Но «воспитанный человек не может быть груб без намерения», — говорит английская пословица. Вопреки обычной сдержанности, он мог вспылить, «полыхнуть» иногда грозно, но легко отходил. Чаще же умерял хамство, самонадеянность, претензии, останавливая человека презрительным взглядом и отрезвляющим словом. «Не затрудняйте себя объяснениями», — говорил он холодно с белыми от гнева глазами. Да, А. Т. умел сохранять дистанцию.

Зато как хорошо, открыт он был с друзьями, да и просто расположенными к нему людьми, а таких было большинство. Отрадно было наблюдать Твардовского за праздничным столом в редакции, когда собирались все сотрудники. Он любил произнести речь, обращенную к корректорам, призывая их блюсти «культуру печатной страницы» как залог общей культуры журналов. Всех за столом он, бывало, заметит, всем скажет доброе, участливое слово. И никакой при этом сладости, меду и сахару — все просто, как давно обдуманное и как бы по делу. В застолье не просто по-грузински прибавит чести человеку, а как бы на его вьсь, на его скрытые возможности укажет — и вместе с тем не «пересолодит».

При мало-мальски близком знакомстве с ним легко приоткрывалась его доверчивость. Да, при всей пронзительной остроте ума, он был человек по-детски доверчивый, потому что верил в справедливость и ждал ее от жизни. Ему всегда хотелось верить в лучшее.

Он был жаден до новостей, и новостей добрых. Бывало, сложится в редакции тревожный, невеселый день. А. Т. сидит за столом в кабинете, сигарету в руках мнет, табак сыплется на пиджак, глаза насторожены, недобро щурит. Обдумывает что-то, и пока твердо для себя не сформирует, вслух не скажет.

Но вот приходит кто-то с хорошей вестью, или просто симпатичный человек набежит, разговорит, пошутит — и А. Т. рассмеется вдруг от души, видно, решив про себя, что дела не так уж и худы.

Были у него любимые цитаты-присловья на эти случаи.

— Погадаем-поглядим, что нам скажет Никодим. («А Никодим что-то помалкивает», — частенько добавлял он.)

Когда в кабинете появлялся знакомый литератор, Твардовский мог огорошить его вопросом-цитатой из Некрасова:

Сходится в хате моей
Больше и больше народу.

Ну, расскажи поскорей,
Что ты слышал про свободу?

И делал изумленно-вопрошающий вид, устремляя на вошедшего указательный палец.

Твардовский истово верил, что любое зло ненадолго, любая беда минет, что надо ждать от жизни добрых перемен, от людей — хороших вестей. А если узнавал что невеселое, но привычное, говорил со смешком, крутя головой:

Ну, спасибо, ямщик. Разогнал
Ты мою неотвязную скуку.

Он обольщался посулами радости и добра, потому что упрямо желал их. И при всем своем здравом и скептическом уме был легковерен к доброму.

ЗА РЕДАКТОРСКИМ СТОЛОМ

Беседовал ли он с заслуженным автором или случайным посетителем, говорил с нами о редакционных делах или вспоминал житейское, в его присутствии рождалось впечатление чего-то значительного: никакой будничности, пошлых пустяков. Он мог посмеяться остроумно анекдоту, но сам анекдотов не рассказывал. Серьезность его не была надутостью, он легко отзывался на шутку и сам любил пошутить весело, озорно. Но это никогда не роняло его, не казалось мелким.

Твардовский умел восхищаться чужой работой. Гордился, когда отыскивал в рукописном потоке что-то талантливое и дельное. Был необычайно чуток даже к оттенкам чьей-то удачи: восхищался «перекрученными березками», мелькнувшими где-то у Тендрякова, или подробностью боя у Василя Быкова, когда вместе с землей «сыпануло в окоп горсть отстрелянных вонючих гильз». Какая сжатая сила выражения!

Когда А. Т. разговаривал с авторами, начинающими или прославленными, он как никто умел поощрить щедрой, искренней похвалой, но и о неудаче или каких-то частных слабостях хорошей вещи говорил с обезоруживающей прямотой.

Впрочем, его весьма решительные суждения не имели обычно директивного характера. Всерьез он говорил с писателями, чьи работы заслуживали такого прямого, без скидок, профессионального разговора. Часто рукописи, по поводу которых он хотел подробнее объясниться, уже были намечены к публикации в журнале. Твардовский любил говорить о рукописи, как бы «отмыслив» вопрос ее печатания или непечатания,

а по «гамбургскому счету», с высоты своих, ни мало не сниженных для удобства собеседника требований к литературе. Поправит ли что-то писатель в своей вещи после такого разговора или нет, это зависело от его способностей, намерений или художественной совести. Дело Твардовского было сказать, что он об этом думает.

Попробую восстановить канву некоторых разговоров Твардовского, при которых присутствовал. Вот А. Т. прочел верстку повести Виля Липатова «Чужой» и пригласил его для объяснений.

— У вас обширный опыт,— говорит А. Т.,— но вам не хватает писательской культуры. В этом отношении Юрий Казаков, который читал Бунина, выше вас. Вы располагаете серьезным жизненным материалом, а часто портите его. Вы, небось, после детства «Капитанскую дочку» ни разу не перечитывали. Нет? А вам надо ее прочитать — и задохнуться от восторга.

Надо сказать, что «Капитанская дочка» для А. Т. вообще — символ совершенного искусства. Если кого хочет укорить, всегда скажет: «Да он «Капитанской дочки» не читал».

А. Т. разглядывает свои многочисленные пометки на верстке, начинает было приводить примеры, но машет рукой и продолжает:

— Вы пишете и не переделываете. Все остается, как в первый раз писалось. Художник же начинается тогда, когда является необходимость второй и третий раз возвращаться к однажды написанному... Мы напечатаем эту вашу вещь, но вот вы называете это повестью...

— У меня в рукописи было — роман, это в редакции перекрестили в повесть,— замечает Липатов.

— Тем более. У вас материала на рассказ, а вы вздуваете его на повесть, даже на роман... Давайте условимся, напишите для нас рассказ, но такой, чтобы вы могли приехать к нам в редакцию и прочитать его вслух. В старину писатели часто читали друг другу вслух свои рассказы. Это прекрасная проверка, когда за каждое неловкое слово стыдно бывает. Я по себе знаю: читаешь вслух поэму — и одно слово хочется проглотить, замять, чтобы слышно не было, а другое уверенно, звонко произносишь,— значит как надо стоит... И еще, простите уж — у вас нет родословной. Я не знаю, кто ваши отцы или они бродят неподалеку, совсем рядом. Смотрите, в «Одном дне Ивана Денисовича» — там и протопоп Аввакум, и Достоевский или Чехов (не как простое подражание, конечно) — а у вас никого не видно, не думайте, что это хорошо...

Разговор с Константином Воробьевым о его повести «Момич» Твардовский начал искренними похвалами. Еще раньше он говорил в редакции об этой рукописи, что местами она ему очень понравилась: «какая-нибудь тропинка, изгиб ветлы совсем по-бунински написаны». Нравился ему и главный герой, Момич, отчим мальчишки, от лица которого идет повествование. «Это, конечно, автобиографическое. Детство — золотой запас всякого писателя. Об этом почти нельзя плохо написать».

Но смущало Твардовского то, что в повести тронута тема коллективизации и дана она глазами подростка. Он советовал положить конец рукописи «в стол» и образовать повествование накануне коллективизации: «Для этой темы не годится восприятие подростка, тут нужна другая оснастка». «А впрочем, вам решать,— сказал А. Т. в заключение.— Вы, как летчик, в воздухе. Мы с земли следим за вами и знаем, что у вас какая-то беда, но помочь ничем не можем, разве что советом. Только вы один в кабине пилота можете самому себе помочь. А мы в лучшем случае барражируем рядом с вашим самолетом. (И все же потом А. Т. еще долго говорил с автором наедине о том, как «спасти» его повесть.)

Любимую им тему о достоинстве повествовательной авторской речи энергично развивал он в разговоре с Николаем Вороновым о его рукописи «Юность в Железнодорожке».

— Есть детское, литкружковское правило: «показ, а не рассказ». Но нужен и рассказ, нужна свобода авторского изложения. Не о том речь, чтобы воспарять в философские многозначительные рассуждения. Это редкость, когда писатель имеет право себе позволить сказать: «Двенадцатого июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие» и т. п. (А. Т. любит цитировать этот зачин третьего тома «Войны и мира» как образец открытой и величавой авторской речи.) Я считаю тяжким грехом прозы — изложение обстоятельств действия в диалогах. Вместо того чтобы сказать: «Он подъезжал к городу, когда под ним пала лошадь», вы даете две страницы диалога: «Кто там скачет?», «А на чем?» и т. п.

Твардовский горячо одобрил правдивость и новизну материала Воронова — жизнь тылового приуральского города военных лет. «Прекрасно описана эта зашляченная, с битым стеклом земля, по которой трудно ходить босиком, эти базары, очереди, толкучки, воришки, бараки и проч.»

— О трудной жизни писать надо так, чтобы читать было нетрудно,— говорил Твардовский Воронову.— Иной раз материал вас захлестывает. Хорошо, когда такой подпор материала, но нужен и водослив. Бывает, автор отдается вдохновению, благодарному свойству памяти и желанию все запечатлеть, а энергия рассказа потеряна.

А. Т. неизменно стоял за скромность жанровых определений. И Воронову, как многим другим, настоятельно советовал убрать из подзаголовка слово «роман».

— Пусть читатель скажет: «Смотрите, названо «хроника», а в сущности настоящий роман. Это куда лучше, чем если будут говорить: «Какой же это роман? Скорее уж хроника...»

Твардовскому нравился жанр записок, свидетельств, документальных мемуаров. Он считал, что «дельная проза» восполняет дефицит правды в расхожей «беллетристике». И оттого высоко оценил записки инженера-изыскателя Александра Побожьего «Мертвая дорога», воспоминания крестьянина Бартова о побеге из колчаковской тюрьмы, очерк рабочего Терентьева о строительстве электростанции. К досаде одного автора популярных романов, он ставил ему в пример безыскусную прозу Терентьева: «Вот образец того, как надо писать».

Однажды в редакции появился высокий пожилой военный в светло-серой генеральской шинели и с крупными звездами на погонах. А. Т. весь напрягся, заранее опасаясь, что придется иметь дело с пухлым томом военных мемуаров, где будет мало жизненной плоти, конкретного и личного, а один лишь монтаж диспозиций и донесений, подбранных грамотными адъютантами. Но рукопись, которую принес Генерал Армии А. В. Горбатов, была как раз из числа тех, что восхищали Твардовского своей правдивой безыскусностью и сердечной прямоотой.

— Вы подумайте, пишет только карандашом, и огромная рукопись вся, от строчки до строчки — его рукой! А какая судьба!

Правились Твардовскому и записки летчика-испытателя Марка Галлая. Он лишь предупреждал автора против «разукрашивания» событий, иначе сказать, беллетризации, портящей доказательность и поэзию документа.

— Нет занимательности без обстоятельности, — приводил Твардовский любимую мысль Томаса Манна. — Не надо украшать свой рассказ, все достоинство записок в их дельности.

— А если я хочу написать пейзаж, чем-либо мне запомнившийся? — спросил Галлай.

— Специально ради пейзажа не надо, — отвечал Твардовский. — Не надо так: «Багряные лучи заходящего солнца окрасили небосклон...» Но если вы напишете, что солнце садилось за тучу и потому, скажем, труднее было вести самолет, — это другое дело. У Арсеньева в «Дерсу Узала» нигде не найдете самоцельных описаний природы. Но вот, например, он рассказывает, что подкрался к оленю так близко, что увидал, как с губы у него капало: кап-кап... Это уже молодечество, и, понятное дело, это нужно.

Документальную прозу А. Т. хвалил, поддерживал, печатал, но когда кто-то, запалившись, вознес ее слишком высоко, Твардовский охладил его пыл:

— Знаете ли, увлечение документальной прозой лишь до той поры, пока не появится произведение, роман или повесть, подлинно художественного размаха. Тогда очевидные достоинства дельной прозы перед средней беллетристической мгновенно померкнут.

Твардовский посмеивался над теми, кто причину недостатков литературы видел в неразработанности теории социалистического реализма. Дескать, откроем законы, выработаем правила, и тогда станем писать выскоидейные и одновременно глубокохудожественные произведения. Это не значит, что у него не было своей, хотя и не приведенной в систему, но вполне продуманной эстетики.

Пусть даже не со всеми оценками его можно было согласиться, а некоторые прямо поддразнивали и вызывали на спор, но всегда видно было, что у мысли его — крупный масштаб: его интересует литература в целом, литература как проявление народной жизни, а не какие-нибудь частные счеты-расчеты.

Когда перед ним лежала рукопись, ему прежде всего важно было понять — правдиво ли произведение и существенно ли, то есть открываются ли в нем новые стороны народной судьбы, человеческой души? Если писатель ставил перед собой задачи малые, облегченные, не забирающие его целиком, это разочаровывало Твардовского.

Фальшь он чувствовал за версту и особенно не любил, когда к серьезной, драматической теме, скажем, жизни послевоенной деревни, добавлялись сентиментальные, «романтические» ноты.

— Если плохо написано, чтобы оправдать это, частенько говорят: «Знаете, ну, это романтизм».

И А. Т. еще тянул это слово, насмешливо сюсюкая: «романти-и-изм».

Плохое искусство он считал не просто нейтральным балластом культуры, но вредоносным гасителем добрых эмоций, разрушителем доверия читателя, зрителя. Однажды мы возвращались с неудачного, с потугами на острый модерн, фильма. Твардовский отказался от предложенной ему машины, и мы долго шли по пустынной Мосфильмовской улице уныло, молча. И вдруг он сказал: «Вы замечали, как может искусство делать счастливым, даже если сюжет печальный, горький? Я читал одну австралийскую книгу, где герои долго идут по безводной пустыне, по пескам и колючкам, страдая от усталости и жажды. И внезапно поймал себя на чувстве причастности: мне захотелось быть там, вместе с этими людьми. И тогда чувство счастья от книги... Но зато какое гнетущее бывает настроение, когда ты не веришь, когда перед тобой подделка, а ты принужден прочесть или посмотреть — как мы сейчас с этим фильмом — все это до конца. Тут уж тоска наваливается — будто у тебя кто умер».

Требования его могли казаться максималистскими, но это оттого, что он не знал большего врага правды, чем уклончивая полуправда. «В деле литературы, искусства недостаточный талант хуже отсутствия таланта», — говорил А. Т. Он имел в виду, что отсутствие таланта — никого не обманывает, и оттого не так разрушительно по общественным последствиям.

В ответ на рассуждение, бывшее одно время в ходу, что не следует изображать «теневые стороны жизни», Твардовский замечал: «Нелепо советовать ходить лишь по солнечной стороне, а на теньевую не заглядывать. Так ведь голову напечет».

Скептически относился он ко всему взятому не из первых рук, имевшему привкус испробованной «литературы». В стихах отвергал ассоциации, связанные с уже послужившим искусству материалом: «нестеровский взор», «левитановский закат».

— Нельзя определять жизнь уже прежде (и не тобою) созданными образами ее,— объяснял он.— Это «отражение отражений».

И никак не мог понять критиков, которые поощряли приукрашенное изображение действительности в литературе:

— Для них отражение важнее положения.

* * *

Не хотелось бы, чтобы из моих беглых заметок, записанных мною когда-то слов Твардовский предстал человеком нравоучительным, одаряющим тех, кто входил в его кабинет, готовым запасом житейской и литературной мудрости. Я видел его задумчивым и остро насмешливым, растерянным и яростно гневным. Гнев его вызывали неизменно претензии не по чину, искательство, потуги очевидной бездарности.

Как-то наш разговор с Твардовским прервал пробившийся к нему пенсионер. Он говорил, что приехал издалека и настаивал, чтобы Твардовский принял его по неотложному делу. Я сидел в кресле в углу кабинета и стал очевидцем такого диалога:

— Я к вам только на пять минут, хочу задать один вопрос.

— Пожалуйста.

— Если я напишу идейно выдержанный и высокохудожественный роман, вы его напечтаете?

— Нет.

— Почему???

— Потому что тот, кто задает такие глупые вопросы, романа написать не может.

— Но я ведь должен знать заранее, получить какие-то гарантии... Ведь мне придется отдать этому труду два года жизни.

— Вот я и советую вам, не надо отдавать двух лет жизни.

Посетитель ушел растерянный и недовольный: какой, однако, нечуткий человек этот Твардовский!

Казалось бы, защищенный своей громкой поэтической славой автор «Теркина» мог относиться к своему редакторскому посту несколько прохладнее, как к почетной должности: за тебя все прочтут и сделают, а ты «царствуй, лежа на боку». Некоторым так дело и представлялось. В действительности же А. Т. обычно прочитывал в верстке журнал от корки до корки; многое он читал, разумеется, еще в рукописи. Да к то-

му же иные бойкие авторы «самотека» настигали его лично и вручали толстые и тонкие папки дома и по пути в редакцию.

— Рукопись надо читать, как арбуз выбирают,— учил он меня.— Вырезал клинышек, взглянул— не красно, положил обратно в середку.

— Автор может обидеться,— возражал я.— Станет требовать, чтобы до конца прочли.

— Да, бывает и такой трудный случай,— соглашался Твардовский.— Ему толкуешь, что роман не годится, и это видно уж по первым страницам, а он в ответ: «А вы заметили сцену объяснения у колодца в главе 49-й? Не правда ли, получилось?» Вот и приходится подряд все читать, вплоть до опасных симптомов отравления... не скажу чем. Вы знаете, в медицине есть такое понятие, забыл, как по латыни...

Однажды малоталантливый беллетрист, имевший лишь то преимущество, что он когда-то учился с Твардовским, принес в редакцию пухлый кирпич верстки. Он уже уговорил какое-то издательство напечатать его роман и теперь хотел добиться его публикации в журнале. Отрицательному мнению сотрудников редакции он, конечно, не поверил и требовал, чтобы роман прочел непременно Твардовский.

А. Т. хорошо знал возможности этого автора и решил не медлить с ответом. Он открыл роман на первой странице и в присутствии автора сделал показательный разбор. Он шел от фразы к фразе и под дружный смех присутствующих обнажал фальшивые красоты стиля, штампы, нелепицу изложения. Несколько смятый, но не поколебленный автор заявил, что по первой странице судить нельзя: там-де все сказано иронически и с точки зрения героя, который окажется в ходе действия отрицательным.

— Но зачем же начинать роман в духе и стиле отрицательного героя?— сказал Твардовский.— Может быть, тогда он хотя бы заканчивается иначе?

Он перевернул пачку верстки и тем же способом начал разбирать последнюю страницу романа. Тут уж автор вскричал: «Хватит, хватит», и счел за благо удалиться с версткой под мышкой. Справедливости ради скажу, что такой жестокий способ изучения рукописи Твардовский применял редко, и только чтобы наказать воинствующую бесцеремонность. Самолюбие скромных авторов он щадил.

Каждому начинающему поэту было, понятно, лестно, чтобы его прочел и оценил сам Твардовский. Его ловили у машины, «повисали» на нем в редакционном коридоре, везли стихи на дачу, умоляя, чтобы они попали не в отдел поэзии, а были непременно прочитаны им. «Мне обидно,— отбивался Твардовский,— вы не доверяете моим сотрудникам, а значит, и мне. Ведь я-то им вполне верю... Они и мои стихи бракуют». Но порой не выдерживал осады и брал рукопись домой.

Случалось временами, что на другой день в редакции он несколько смущенно вынимал из портфеля прочитанные им дома стихи начинающего поэта и, собрав двух-трех сотрудников, проверял свои впечатле-

ния. «Или я ничего не понимаю в поэзии и выстарился совсем, или тут что-то есть...» — начинал в таких случаях А. Т. Он читал понравившиеся ему стихи с выражением, с энергией и искренне огорчался, если слушающим не нравилась его находка. Порой ему свойственно было обольщаться незамысловатой простотой. Но чаще он бывал прав. Так он открыл и читал нам вслух в редакции стихи Алексея Прасолова, рано погибшего, к несчастью, воронежского поэта. Он принял горячее участие в его судьбе и даже вызволял из одной житейской беды. Ему нравилась сосредоточенность Прасолова, его философия природы и высокая культура стиха. Особенно восхищали Твардовского строки:

Травы стремленье штыковое
И вялость прелого листа.

— Я бы мог так написать, да почему-то не догадался. «Травы стремленье штыковое», а ведь лихо сказано!

Я думаю, что в «Новом мире» печаталось много хороших стихов, и все же Твардовский и поэзия — непростая тема, потому что некоторые из современных поэтов обижались на него: он их не печатал. Виной тому было нередко различие самого подхода к делу. Для Твардовского, как ни дорожил он искусством, жизнь была все же важнее поэзии — самого прекрасного, летучего и восхитительного цветения бытия. Смысл, содержание, то есть попытка понять людей, что с ними происходит и как они живут, собравшись в то объединение, что зовется «обществом» — вот что составляло для него суть всякой литературы, в том числе и поэтической. И как жизнь для него была первостепеннее поэзии, без которой он тоже, впрочем, не согласился бы существовать, так и «человек» важнее «поэта». Иными словами, элитности поэтов он не признавал и право на поэтическую «невнятицу» тоже считал сомнительным. «Как я могу печатать то, чего сам не смогу объяснить, если попросят?»

Уже появились воспоминания, в которых сообщается, что Твардовский был несправедлив, отклоняя многие прекрасные стихи, что он не проявлял здесь широты, необходимой просвещенному вкусу. Ну, не так уж он был узок, если печатал Межелайтиса и Евтушенко, Межирова и Карло Каладзе, Кайсына Кулиева и Д. Самойлова, если о Марине Цветаевой или Анне Ахматовой сказал, быть может, самые весомые в наши дни слова признания. Но, конечно, строгая избирательность его была наглядна.

Не решусь утверждать, что он во всех случаях был справедлив как всеведущий и беспристрастный судья. «Ничто человеческое...» Но мне кажется важным указать на устойчивые основы его этики, делавшие его приговор чужим стихам, даже когда он казался (или был) несправедливым, лишенным всякого оттенка зависти, соперничества или конкуренции.

Прежде всего в литературных отношениях, как и во всяких иных, Твардовский не умел лгать. Притворяться, что ему что-то понравилось — из редакционных ли выгод, чтобы поддержать дружеские отношения, или просто из чувства самосохранения, оберегая свой покой, — Твардовский не умел катастрофически. Видя, что у него вымогают поощрение, нарочно иногда, чтобы не сбиться с компаса правды, говорил в глаза автору резче, чем сказал бы за глаза.

Замечал я и то, что поэтов, увенчанных или вознесенных модой, Твардовский оглядывал с прищуром более острым, чем безвестных и начинающих. Если в начинающем видел искру божию — готов был помочь ее раздуть, но ранних «знаменитостей» не щадил. И не по чувству профессиональной ревности, я думаю, а оттого, что не терпел шелухи, внешних примет признания, камуфлирующих истинное достоинство. В таких случаях он отвергал чужую рукопись без снисхождения. Уверил: «Если сразу сказал, что думаешь, дальше разговаривать легко».

Много раз откровенно и взыскательно говорил он с Е. Евтушенко, одобрял одни его стихи, подробно разбирал и отвергал другие.

— У вас импровизационный талант, — говорил ему Твардовский. — Но нет драгоценной для искусства способности возвращаться к раз началому. Вы умеете захватить территорию противника, но не умеете закрепиться на ней — обеспечить тылы, окопаться и т. п.

О стихотворении «Баллада о смертнике» Твардовский сказал:

— Вы нагоняете на читателя страх: ох, эти поэты, отчаянный народ, как бы он над собой чего не сделал. А не надо пугать. Вот в другом стихотворении у вас сказано о поэтах, что один из них с брюшком, другой — пошляк в жизни, но в них-де «божественный глагол». А я думаю, что необязательно поэт так уж непригляден — это все кокетство и заискиванье перед читателем. Поэт может быть строен, красив, и даже должен быть таким в молодости. А кроме того, я не верю, чтобы ваш пошляк — если я верно его угадал — когда-нибудь чувствовал себя поэтом по существу. Пошляк — он пошляк и есть.

К чести Евтушенко надо сказать, что он достойно выслушивал эти малоприятные речи. «В прошлый раз вы довели меня до слез, сейчас я едва сдерживался, — сказал он Твардовскому. — Но следующую вещь опять принесу вам».

«Даровитый человек, — рассуждал после его ухода Твардовский, — но, к сожалению, поэзии русской как следует не знает. Я спрашиваю его: «Зачем тут у вас женская рифма?» Он не знает. Это еще не поэзия, а импровизация. И потом — самоупоен. Проекторный луч убегает от него, а он за ним гонится, чтобы снова под него попасть».

«Сейчас в моде незастегивающиеся рифмочки, — рассуждал по другому поводу Твардовский, — «старушка — Таруса». Все это рифмы-пифмы. В народном стихе встречаются неточные рифмы, но всегда закономерные. «Бери свою шубу, чтоб не было шуму». Многие наши молодые ушиблены звукописью. Если у них идет «католический», то в следующей

строке непременно «калиткой». А ведь звукопись лишь одно из малых средств поэзии. И выходит виртуозно, но пустовато.

Нерифмованные стихи Твардовский откровенно недолюбливал. Однажды он вернул мне стихотворение довольно известного поэта, которое мне нравилось и за которое я хлопотал.

— Пока я здесь редактор, не приносите мне белых стихов, печатать не буду, — полушутя сказал А. Т.

— И «Вольные мысли» Блока не напечатали бы?

Наступила пауза. Твардовский будто обдумывал, и вдруг сказал серьезно:

— Нет, Блока бы напечатал.

Казалось, белый стих должен привлекать его естественностью течения речи, простотой формы. Но он с предубеждением относился к «русскому верлибру», как бы опасаясь, нет ли здесь заведомого облегчения поэтической задачи, «езды со спущенными вожжами». Да и народное стихосложение, на которое он всегда оглядывался, тяготело к рифме, так что в белом стихе ему виделось что-то безнациональное, сомнительно новомодное. А. Т. вспоминал пушкинскую насмешку —

... Мне каждый раз,
Когда взгляну на этот замок Ретлер,
Приходит в мысль, а что как это проза,
Да и дурная...

Велико было удивление присутствовавших, когда однажды Твардовский прочел нам в редакции свое большое стихотворение «Береза», написанное белым стихом. Стихотворение смело совмещало времена и пространства, эпоху Ивана Грозного и современность, березку, притупившуюся за выступом Спасской башни Кремля, и другую — на кладбищенском сельском бугре его родины... Этому лирическому рассказу очень шел естественный, свободный строй белого стиха.

Но кто-то из слушавших пошутил: вот-де и А. Т. белым стихом не погнушался, а как замечательно получилось. Твардовский на это только хмыкнул. Но когда спустя неделю он принес подборку стихов, подготовленных к набору, мы с изумлением увидели ту же «Березу» в оперении классической рифмы. Затрудняюсь сказать, приобрело или потеряло при этом что-то стихотворение: каждый из вариантов был по-своему сильным.

Вообще, если кому-либо разговоры Твардовского с поэтами представлялись излишне резкими, пусть искуплением послужит то, что к своим собственным работам он относился с еще большей критической придирчивостью. И в стихах последних лет ставил себе зарок:

...Сурово спрашивать с себя,
С других не столь сурово.

«ЛУЧ СЛОВЕСНЫЙ»

Не знаю, как в дни его молодости, но в годы, что я его знал, он глухо охранял двери в свою мастерскую, никогда не носился с написанной страницей, и похоже было, что испытывал вечное чувство недовольства собой. В особенности неохотно расставался он со своими лирическими стихами, всегда медля передавать их в печать.

А. Т. иронизировал над таким способом существования лирического поэта-профессионала: встал, хорошо выпавшись, попил кофе, положил на стол писчую бумагу и перо, сел и думает, впериw взгляд в окно — что бы мне сегодня написать? Лирические стихи возникали у А. Т. непреднамеренно — дорогой, на прогулке, среди ночной бессонницы и переписывались им в дневник между других записей дня, словно бы как часть его. Я знал это, и хотя Твардовский недолго любил таких разговоров, вместе с С. Г. Карагановой, заведовавшей отделом поэзии, начинал терзать его, не даст ли он что-нибудь для очередной книжки. Говорил, что читатели «Нового мира» давно не видели его стихов, так не пора ли показаться перед ними поэту, а не только редактору?

Твардовский переглядывал, наконец, дома свои тетрадки и выбирал придирчиво то, с чем на его вкус было не стыдно показаться. Потом он собирал в своем кабинете «соредкторов» и читал новые стихи, как бы «на пробу».

Он надевал очки, перелистывал страницы толстых общих тетрадей с закладками и говорил для начала что-нибудь застенчиво-шутливое, вроде: «Перебирал стишочки, как бедные грибочки, а белых вовсе нет...» Или: «Вот, послушайте. Тут одно стихотворение более или менее, а остальное так, дрибница...» Это словечко, означавшее «мелочь, россыпь», должно было настроить слушателей так, что на этот раз ничего особенного они не услышат.

А ведь читал он на моей памяти, помимо глав из «За далью — даль» и «Теркина на том свете», такие стихи, как «Я знаю, никакой моей вины...», цикл «Памяти матери», поэму «По праву памяти».

После чтения наступала обычно долгая пауза — трудно было сразу оторваться от магии этих стихов, прочитанных его твердым, без тени сентиментальности, хрипловатым голосом.

Помню, как читал нам Твардовский фрагмент своей последней поэмы — «На сеновале», удивительное воспоминание о «годах юности немилой». На похвалы отвечал: «Тут не все отделано...» И тут же пошутил: «Когда хозяйку хвалят, она всегда скажет: здесь не хватает, кажется, корницы или перцу...» И поскольку присутствовавшие все еще молчали, заговорил сам:

— Никогда не знаешь, что где откликнется. Все так странно связано... В моей наивной поэме «Путь к социализму», которую я теперь ни в одно собрание сочинений не включаю, есть строки о молоденьких петушках. Их когда-то заметил Пастернак на обсуждении поэмы. И вдруг эти петушки вспомнились мне здесь: «Их голосов надрыв цыплячий...» Ну да ладно, говорите, что не так.

А. Т. ввел в редакции суровое правило: рукопись, пришедшая со стороны, могла увидеть свет и при разногласии членов редколлегии, ее судьба решалась простым большинством голосов. Если же речь шла о сочинении сотрудника редакции, не исключая самого главного редактора, требовалось единогласие: один-два голоса против, и сочинение уже не печатается.

Не помню случая, чтобы мы голосовали по поводу лирических циклов А. Т. Но стоило кому-либо в самой деликатной форме усомниться или только сказать: «а это вроде послабее...», как стихотворение мгновенно исчезало из будущей подборки, и больше мы его не видели.

Помню, я отчеркнул уже в верстке две заключительные строчки в стихотворении «Я знаю, никакой моей вины...» и сказал А. Т., что они кажутся мне не обязательными, слишком дидактичными, что ли; на другой день их как не бывало.

Это не значит, что Твардовский легко соглашался на перемены — иногда сердился, вскрикивал, упрямо стоял на своем. Но, поостывши, говорил: «Дело дружеской критики — расшатать гвоздик в стене. Если легко вынетса, значит, был плохо забит, а останется на месте — значит, стоит, как надо».

Зато, если соглашался, поразительно легко делал поправки — в стихах ли, в статье. Весь словарь, рифмы, синонимы, вся амуниция искусства была у него наготове, все отобюрокрачено, и по первому зову являлось точное, нужное слово, а для проверки — полдюжины синонимов. Когда в строке обнаруживалась «слабина», он мгновенно находил ей замену, легко перерифмовывал и ставил на место.

А вот если слово сказано точно и он его ценит, никакими силами нельзя было заставить его уступить. Твардовский возмущался редактором, готовившим отдельное издание поэмы «За далью — даль»:

— Странный молодой человек. «Здесь, говорит, у вас неверное согласование». Или: «Это не по-русски», «это неправильно». Да, неправильно. Вот я и хочу, чтобы было неправильно. Другое дело, когда сам чувствуешь, что нужно что-то поправить. Тут типографскую машину уже пустили, а мне захотелось еще внести изменения. Я сказал в издательстве об этом. Мне отвечают: «Не советуем. Иначе вы как автор понесете большие материальные убытки». — «Гонорара хватит?» — ответил я им.

Как-то в дружеском застольном разговоре А. Т. заметил об одном писателе, что у него есть замечательные сцены, но он очень неровен, пишет много, как графоман. «В этом смысле всякий писатель графоман», — возразил один из присутствующих. «Я не графоман, — сказал не-

ожиданно Твардовский.—Если бы вы знали, как трудно, мучительно я пишу, и как мне не нравится все, что я пишу». И, переведя на шутку, он комически оглянулся по сторонам, не слышит ли кто нас за соседним столиком: «Только не говорите этого никому, ради бога».

Редко-редко кто мог слышать от него, когда он, обиженный или расстроенный чем-то, говорил горделиво:

— Я знаю себе цену, не думайте. «Василий Теркин» важнее и выше год от году. Это когда он главами печатался, некоторые думали: вот и еще агитстихи про солдата... А ведь как Бунин про это сказал...

Бунинской оценкой он гордился. Но мгновения удовлетворенности, самоутешения были редки, а мука в совершенствовании себя — длительна. Он не любил откровенничать, но по вырвавшимся время от времени фразам видно было, что ему казалось, — все это еще не то, не так, не самое главное он пишет.

Твардовский не знал покоя в стремлении к совершенствованию им созданного, и пока книга не уходила от него на слишком заметную дистанцию, продолжал поправлять, переделывать написанное. Исчеркивал поправками уже десятки раз изданную поэму «За далью — даль», не однажды возвращался к «Теркину на том свете». Иногда даже портил невольной какую-то строчку, и удивлялся, и сердился, когда ему указывали, что прежде такая-то строфа звучала лучше.

Однажды шел разговор о его смоленском приятеле Е. Марьенкове, рукопись которого, написанная перед войной, погибла, и он нашел в себе силы написать ее заново второй раз. По впечатлению Твардовского, многое в ней получилось лучше, ярче.

— Так бывает, — сказал А. Т. — Я иногда говорю поэтам, которые приходят забрать присланные ими стихи: «А я их потерял. Запишите заново по памяти. Все хорошее, сильное наверняка запомнилось и останется, а шелуха отпадет».

Способ жестокий, но верный; я свидетель, что А. Т. применял его и к себе. Весной 1969 года, оказавшись в больнице без главных своих тетрадок, он сочинял последнюю свою поэму, восстанавливая по памяти движение мысли и стиха, и радовался, что какие-то строфы забыл: «значит, не нужны».

ТРУД МЫСЛИ

А. Т. твердо веровал в один закон: в литературе, искусстве, как в любви, хорошо лишь то, что в охотку. Принуждение себя, любой оттенок неискренности сразу скажутся в деревянном слогое, фальшивом тоне, как ни заботишься укрыть свое равнодушие.

Твардовский трепетно отнесся в свое время к задаче — выступить на всесоюзном юбилее Пушкина. Речь его на заседании в Большом театре

была значительной, да и дала ему повод перечитать и передумать всего Пушкина заново.

Но вот придвинулся лермонтовский юбилей, и его снова стали сватать в докладчики. «Что же, других поэтов нету? Опять меня припрягают,— говорил он с тоской в голосе.— А я так думаю: вот выступил на юбилее Пушкина, так это — часть судьбы, часть биографии. Но нельзя же по каждому поводу возглавлять комитеты и говорить речи о всех подряд классиках».

Несмотря на это, он начал все же думать о выступлении и, перечитывая Лермонтова, интересно рассуждал о «Валерике», о способности Лермонтова охватить словом огромные пространства, сопрячь в поэзии русскую степь и вершины Кавказа... Но в конце концов от доклада на юбилее отказался. Чувствовал, что это для него недостаточно «личный» повод.

За ним водилась одна черта: необыкновенно умно, нешаблонно, ярко говоривший о том, в чем он был убежден, Твардовский терял свой свободный дар, едва хотел себя принудить. Как он сердился тогда на себя и на всех вокруг и как неудачно говорил!

В самом начале 60-х годов у меня как-то случился с ним такой разговор.

— Тут я должен был выступать на совещании,— сказал Твардовский,— название которого никто не умеет правильно произнести.

— Как так?

— А так. Ну, как вы скажете? Газеты читали?

— Читал. Ударников коммунистического труда.

— Не-е-ет. «Совещание передовиков соревнования за звание ударников коммунистического труда». Так-то! По-бюрократически верно, а уху переносимо... Так вот, меня просили выступить там с речью. Уговорили, я стал думать, и вдруг понял, что ничего у меня не выйдет. Пытаюсь отзвонить с отказом, а мне говорят: «Вы нас подводите, вы один должны были говорить «от всех искусств и ремесел», а всего-то выступающих с приветствиями девять человек. Мы это выступление не дублировали» и т. п. Я объяснил все же, что выступать не могу и с тем уехал на дачу. Встал на другое утро, день чудесный, и было что в саду делать, а вот же — сел писать речь. Думаю, напишу для очистки совести, чтобы показать потом черновик: мол, не по лености или нерадению отказываюсь, а просто не с руки. Стал писать, и представьте, выходит что-то такое скверное, такое скверное (тут А. Т. даже за голову схватился), какого никогда не писал. Пока карандашом набрасывал, еще ничего казалось, а как стал перебеливать чернилами — в ужас пришел... Так и лежит у меня в столе эта бумага — памятником несчастного дня.

Но зато какая сила убежденности, выношенных мыслей и искреннего чувства дышала в его речах, когда он брал слово на партийных и писательских съездах, чтобы сказать о том, что было его болью, его надеждой, делом его жизни.

Замечено, что люди делятся на тех, кто способен к духовному росту лишь в сравнительно недолгие, молодые годы (как сложился когда-то к 25 годам — так и живет), и тех, кто одарен к внутреннему движению на всю жизнь. Способность А. Т. к совершенствованию, переменам меня всегда изумляла. При очень твердой нравственной основе личности, сегодня он был не совсем таким, как вчера, и другим обещал быть завтра.

Дело в том, что его отличал непрерывный, паразитальный для наблюдения со стороны труд мысли, ее живое строительство. Каждое сильное впечатление заставляло его многое передумать, в нем шла постоянная, без пауз и пустот работа нравственного сознания.

Иногда с новизной личной находки он делал для себя простые, самоочевидные открытия. «Я только сейчас понял...» — обычное для него присловье, когда он вернется из какой-нибудь поездки или прочтет что-то важное для себя. Он двигался с каждой новой книгой, с каждым интересным знакомством, с каждым хорошим разговором. До многого, что не ясно было ему прежде, он на моих глазах начал додумываться. Чем дальше, тем меньше он склонен был верить кому-либо на слово, и не позволял своей мысли скользить по изведенному. И «племя младое, незнакомое» пытался тому же учить.

— Возжусь я как-то в саду, — делился А. Т., — а рядом двухлетний внук со своей лопаткой что-то лопочет, дергает за рукав, хочет знать, что я делаю. А я ему: «Смотри и думай. Смотри и думай».

Твардовский был не из тех правдолюбцев напоказ, которые слова про себя держать не могут, и, явись им какое соображение, тут же должны выпалить его, упиваясь тем, что «рубят правду-матку». Он часто помалкивал, покуривал, поглядывая исподлобья, когда вокруг шумели признанные говоруны. И когда говорил, очень всерьез и веско или с тайным лукавством, — всегда оставалось впечатление, что он не до конца высказался, что еще что-то осталось при нем. Не из опасений быть непонятым, а потому, что он не вполне, быть может, уверовал в то, что еще мог бы сказать, не до конца продумал и оставляет как бы для внутренней «доработки»: когда обдумает сполна, тогда и выскажется. В вопросах крупных и важных, касавшихся убеждений, он не шел на компромисс, но не любил и легких словесных экспромтов.

Ему было свойственно народное здравомыслие, редкий инстинкт правды. Сколько раз приходилось наблюдать на разного рода обсуждениях, когда все кругом наговорят с три короба, напугают друг друга, запутаются, а он помалкивает да курит. А потом, взяв слово, неожиданно находит простое и безупречное решение, казалось бы, неразрешимому вопросу. Были у него, конечно, и предрассудки, усвоенные со своим вре-

менем и средой, но как он радовался, когда сам или с чьей-то помощью перерастал их и от них освобождался, как ветхую кожу сбрасывал.

Может быть, не был он лишен смолоду тщеславия, наверное даже, не лишен, но по тому, как он отказывался от всяких почестей и славословий, в том числе в юбилейные свои дни, видно было, что он в себе это отжил. Как и всегда, ему помогала тут, наверное, простая демократическая мера вещей.

Большинству людей нравится или не нравится что-то безотчетно. Прочел, скажем, статью или повесть — вроде все правильно, а что-то царапает, задевает, и лишь напряжением мысли догадываешься, что нехорошо. То же и при первом знакомстве с людьми — легко ли сразу понять человека? А. Т. обладал свойством каждое свое ощущение, невнятное чувство доводить до ясности, до понимания, почему нравится или не нравится, и тогда уж сбить его было невозможно.

Про одного нашего общего знакомого, мало чем зарекомендовавшего себя в литературе, но добивавшегося особо доверительного разговора с ним, сказал: «Не хочу. Он мне неприятен». Я попытался смягчить этот приговор, — да, мол, утомителен иногда. «Нет, — после минутной паузы, будто взвесив что-то про себя, возразил Твардовский. — Не утомителен, а неприятен. Самоуверен до бесчувствия». И встретиться отказался.

В другой раз я упомянул в каком-то разговоре о давно забытом, но некогда известном критике:

— Он был плут, но человек талантливый.

Твардовский взглянул на меня изумленно:

— Негодяя никак нельзя назвать талантливым, — жестко возразил он.

Пересуды новейших пушкинистов о том, считал ли сам автор «Мощарта и Сальери», что гений и злодейство несовместны, он попросту бы не понял. А как иначе мог думать Пушкин?

ИЗ ЖУРНАЛЬНОЙ ХРОНИКИ

В июне 1970 года Твардовский скромно отметил свое 60-летие. Звание Героя Социалистического Труда, которое ему все заранее прочили (а наиболее расторопные успели уже и поздравить), ему не присвоили. Наградили орденом Трудового Красного Знамени, что сам юбиляр, усмехаясь, комментировал так: «Трудись, мол, больше, трудись...» От торжественного вечера в Центральном доме литераторов Твардовский отказался, а устроил обед для десяти человек — сотрудников журнала в ресторане «Прага». Был на обеде еще один его приятель-фотограф, но без фотоаппарата, и Владимир Фоменко, случайно приехавший в те дни из Ростова. Как это мало напоминало шумный, веселый, многолюдный праздник — пятидесятилетний юбилей, отмечавшийся в тех же стенах за длинными столами десятью годами прежде!

Когда все добрые слова, на какие мы были способны, прозвучали и пришло время говорить юбиляру, Твардовский сказал:

— Я верую и исповедую одну теорию: все, что «недополучил» здесь, на этом свете, всякое признание и уважение, получишь после смерти с лихвой, и наоборот, если перебрал при жизни наград и успеха — тебе грозит забвение...

И вспоминал всю долгую историю своего редакторства в оба, как он выражался, «захода», с 1950 по 1954 и потом, после перерыва, с 1958-го.

В 1950 году заехали за ним домой неожиданно А. А. Фадеев и К. М. Симонов, посадили в машину, таинственно отмалчиваясь, куда и зачем везут. Симонов пошутил: «За назначением едем. Меня хотят назначить секретарем райкома, а тебя председателем райисполкома...» Приехали между тем на Старую площадь, прошли в кабинет к Г. М. Маленкову. Тут и выяснилось, что Симонов переходит из «Нового мира» редактировать «Литературную газету», а Твардовскому предлагают возглавить «Новый мир».

Александр Трифонович признавался, что имел тогда очень смутное представление о роли редактора толстого журнала. Помнил только что-то о Пушкине как издателе «Современника», о Некрасове-редакторе, сочетавшем эти свои труды с собственными поэтическими, и это ему импонировало. Перед Маленковым лежала голубая книжка «Нового мира», раскрытая на популярном тогда романе Добровольского «Трое в серых шинелях». Он спросил:

— Вы знаете, чем толстый журнал отличается от тонкого?

Твардовский подумал-подумал и недоуменно пожал плечами.

— Толстый журнал, — наставительно сказал Маленков, выдержав долгую паузу, — печатает вещи с продолжением.

Потом он спросил, не станет ли Твардовский как поэт притеснять в своем журнале прозаиков. Тот ответил, сославшись на Некрасова: мол, он тоже был поэт, но печатал и Тургенева, и Толстого. Тут Фадеев оборвал его репликой: «Ну, ты пока что не Некрасов...»

Так почти безотчетно принял Твардовский назначение, перевернувшее впоследствии всю его судьбу. О периоде работы в «Новом мире» 1950—1954 годов он говорил, впрочем, как о чем-то «доисторическом», полубессознательном. И однако еще в 1952 году, при жизни Сталина, журналу удалось опубликовать «Районные будни» Валентина Овечкина, предвещавшие новую литературу, а затем, годом-двумя позже, повести В. Тендрякова, «Записки агронома» Г. Троепольского. После марта 1953 стала размораживаться, оживать и журнальная критика. Статьи В. Померанцева «Об искренности в литературе», Федора Абрамова о фальшивой «колхозной» беллетристике, памфлет Михаила Лифшица, критика Марка Щеглова читались всеми, но это и послужило поводом к увольнению Твардовского летом 1954 года с его поста. Второй и не менее важной причиной его ухода из журнала была поэма «Геркин на том свете». Первый ее вариант был в апреле 1954 года прочитан Твардовским в редак-

ции в присутствии Николая Асеева, Михаила Светлова, Веры Инбер и др. Поэму набрали, сверстали, но она стала предметом доноса по начальству и рассматривалась как антисоветская выходка, едва ли не с призывом к бунту. Кому-то удалось тогда убедить в злонамеренности автора даже Н. С. Хрущева, вообще-то Твардовскому симпатизировавшего.

На четыре года журнал снова перешел в руки Симонова, и лишь летом 1958 года, после беседы с Хрущевым, его снова принял Твардовский. Хорошо помню тот день, один из первых дней работы новой редакции, когда я по приглашению Твардовского пришел в его кабинет на улице Чехова. Он сидел за столом в белой рубашке с открытым воротом, с закатанными рукавами, на лоб спадала светлая прядка еще густых волос. Он что-то читал или правил, а во всех комнатах двери были распахнуты настежь и роился веселый, какой-то праздничный литературный люд — помню лица Тендрякова, Ваншенкина, Виктора Некрасова...

И все же в день своего юбилея Твардовский говорил, что примерно до 1960-го года работа в журнале не сознавалась им как важнейшая в его судьбе. Откровенно говоря, его думы были больше заняты собственным творчеством, поездками на Дальний Восток, работой над поэмой «За далью — даль», и лишь потом все постепенно переменялось.

Замечено: чем чаще дитя болеет и чем больше приносит огорчений, тем милее оно родителям. Так и журнал: чем труднее давался его выпуск, чем больше бранили его в печати, тем дороже он становился Твардовскому.

Нападки на «Новый мир» уже в начале 60-х годов сопровождали едва ли не каждую заметную публикацию. Перелистайте газеты тех лет — рецензии на романы и повести В. Пановой, В. Тендрякова, мемуары И. Эренбурга выходили под такими заголовками: «Кого обвиняет писатель?», «Неправедный суд», «Литературный брак», «Не тот прицел, не та тенденция», «Факты и пристрастия», «Неудавшееся воскрешение», «Теория терпимости» нетерпима» и т. п. Но это было скромное начало. Бурю вызвала публикация повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказов А. Солженицына. Большой шум сопровождал появление «Вологодской свадьбы» А. Яшина, путевых очерков В. Некрасова («Турист с тросточкой» — отозвались «Известия»). С 1962 года «Новый мир» был под постоянным прицелом недружественных критических перьев.

Передо мной «Литературная газета» от 2 апреля 1963 года. Здесь напечатано выступление одного из старшин «ростовской роты» писателей, как назвал своих земляков Шолохов, Михаила Соколова на литературном пленуме. «Товарищ Твардовский — большой поэт, но и у Твардовского как у редактора есть ошибки. Давайте ему скажем об этом и пожелаем, чтобы он дальше их не делал. И вот что бросается в глаза, когда критикуешь тов. Твардовского как редактора, он молчит, а почему бы ему не выступить и не ответить на критику?»

Помню этот пленум. «Новый мир» бранил на нем не один оратор. Твардовский сидел в президиуме, «светил глазами», по обычному его

ироническому выражению. И когда Соколов с грозным видом произнес свою филиппику, требуя Твардовского к ответу, тот неожиданно рассмехался, да так заразительно, что за ним стала смеяться часть зала, только что, казалось, наэлектризованного угрюмой враждебностью. В кулуарах к Твардовскому подошел смоленский поэт Николай Рыленков. «Ты не можешь представить, — сказал он, — как ты расположил всех тем, что не нахмурился, не выразил негодования, а рассмехался...»

Но в начале 60-х годов положение Твардовского как редактора было еще достаточно прочно. Его редко решались открыто критиковать, считались с его положением: до 1966 года он входил в состав ЦК партии, был депутатом Верховного Совета, его выступления на съездах партии, писательских съездах и пленумах выслушивались с огромным вниманием.

Первый серьезный кризис журнал пережил весной 1963 года: критика в выступлениях тогдашних руководителей Н. С. Хрущева и Л. Ф. Ильичева, проводивших «исторические встречи» с деятелями культуры, беспрестанные нападки на журнал в печати привели к тому, что Твардовский стал подумывать об отставке. Ее готовы были принять и уже подыскивали ему преемников: вели закулисные переговоры с Симоновым, приглашали готовиться к новому назначению В. В. Ермилова... Журнал спасла тогда растущая международная известность, с ней отчасти считались. Твардовский по просьбе Министерства иностранных дел дал интервью журналисту Шапиро, обычно интервьюировавшему Хрущева, и по настоянию Твардовского, это интервью было напечатано не только в «Нью-Йорк таймс», но одновременно и в «Правде». «Последние месяцы мы имели временную прописку, — объяснял Твардовский тем, кто тревожился о судьбе журнала, — а теперь, кажется, снова получили постоянную... Надолго ли?»

Летом 1963 года в Ленинграде состоялась сессия Европейского общества писателей, вице-президентом которого был избран Твардовский. Это тоже имело значение для судьбы журнала. После окончания конференции ее руководство, в которое входили нобелевский лауреат Унгаретти, Жан-Поль Сартр и другие, было приглашено в Пицунду на встречу с Н. С. Хрущевым. Доставленные специальным самолетом, они оказались в роскошной курортной резиденции, где их ждал обед. Помощник Хрущева Владимир Семенович Лебедев заранее шепнул Твардовскому, чтобы тот захватил с собой обновленную рукопись своей «отреченной» поэмы «Теркин на том свете». После первых тостов Хрущев неожиданно для присутствующих предложил: «Кажется, Александр Трифонович приготовил нам что-то почитать...» Твардовский, не чинясь, стал читать поэму, а Хрущев очень живо реагировал на чтение — то хмурился, то громко, по-деревенски хохотал в голос. На обратном пути Твардовский спросил из любезности Сартра, не скучно ли ему было, когда он читал, ведь без перевода. Сартр ответил: «Что вы, это был замечательный спектакль! Я следил за переменами лица Хрущева и как меня-

лись одновременно лица ваших писателей» (там присутствовало несколько руководителей писательского Союза).

Сразу после чтения, когда Хрущев поздравил Твардовского и поднял бокал в его честь, А. И. Аджубей попросил поэму для «Известий». Почти одновременно с газетой вышел и «Новый мир», в который мы срочно заверстали реабилитированную поэму.

В начале 1965 года «Новому миру» должно было исполниться 40 лет. Для юбилейного номера Твардовским была написана статья «По случаю юбилея» — статья спокойная, твердая и неуступчивая.

Верстка была задержана. Твардовский пригрозил отставкой, попросил встречи у М. А. Сулова. После беседы с «первым идеологом» и внесенных по его настоянию в текст поправок статья была напечатана. «Мы приветствуем споры, — писал Твардовский, — дискуссии, как бы остры они ни были, принимаем самую суровую и придирчивую в пределах литературных понятий критику. Мы считаем это нормальной жизнью в литературе. И сами не намерены уклоняться от постановки острых вопросов и прямоты в своих суждениях и оценках. На том стоим» (1965, № 1).

Девиз Лютера пришелся как нельзя кстати в этой статье, по существу, отвергавшей нападки и на прозу, и на критику «Нового мира». И немедленно в «Известиях» появился обширный ответ «Внесем ясность», подписанный известным скульптором Евгением Вучетичем. Это был первый серьезный случай прямого спора в печати с Твардовским как редактором, знак, что и он лично не вне критики. Автор «Известий» еще расшаркивался перед Твардовским, слишком велика была его народная слава, но уже позволял себе опасные намеки: «Между прочим, лично для меня не столь важно «на чем стоять», сколь важно «за что стоять». Это, я думаю, и должно быть основой спора. Именно в том, что мы хотим защищать, что отстаивать. В этом суть. Эту статью я и написал во имя утверждения истины, нашей партийной истины, которая для всех нас превышает всего» (14 апреля 1965 года).

Статья Е. Вучетича появилась через полгода после смещения Хрущева, который, как считалось, покровительствовал Твардовскому, и открывала новую полосу в жизни журнала, когда он стал много беззащитнее перед печатью и цензурой, с особой придирчивостью рассматривавшей теперь каждый лист корректуры, подлежащей в печать. Журнал начинало лихорадить, из месяца в месяц он стал опаздывать к подписчикам.

Весь 1965 и 1966 годы критика «Нового мира» нарастала. На XXIII съезде партии, куда Твардовский уже не был послан делегатом, журнал критиковали И. Бодюль, В. Конотоп и другие ораторы. Еще резче говорили о «Новом мире» на Всесоюзном идеологическом совещании, состоявшемся после съезда. В печати же особенно резкой критике подверглись военные повести В. Быкова, «Семеро в одном доме» В. Семина, «На Иртыше» С. Залыгина, «Из жизни Федора Кузькина» Б. Можаява,

а также мои статьи и статья В. Кардина «Легенды и факты». Обо всем этом можно было бы написать куда подробнее, но мне хочется лишь прочертить канву событий, каждое из которых непосредственно касалось Твардовского, волновало его, мучило и старило до срока. В печати стали появляться и выходки против Твардовского-поэта: актер Борис Чирков мимоходом задел поэму «Теркин на том свете» в «Правде». Великолепный спектакль В. Н. Плучека в Театре сатиры по этой поэме, которым Твардовский гордился, был снят после нескольких представлений. Не говорю уж о критике, раздававшейся из «Октября» Кочетова: там не пропускали ни единого номера, чтобы не разнести что-либо из напечатанных в «Новом мире» вещей. Дмитрий Стариков опубликовал язвительную статью о поэме Твардовского с характерным названием: «Теркин против Теркина». Он тщился доказать, что признанный «Василий Теркин» несравним с «очернительской» поэмой «Теркин на том свете». Твардовского возмущала фальшь таких сравнений. Он неизменно повторял: «Без «Теркина на том свете» большой «Теркин» — сирота».

В декабре 1966 года внезапно было объявлено созревшее «в кабинетах» решение: убрать из редколлегии заместителя главного редактора А. Г. Дементьева и ответственного секретаря Б. Г. Замеса. Помимо того, что оба они были старейшими и опытнейшими работниками журнала, их соединяла с Твардовским давняя личная дружба. Первым порывом Александра Трифоновича было немедленно уйти. Он попытался встретиться с Суловым, но тот не принял его, а по телефону призывал покориться в порядке партийной дисциплины, страдал и улецивал одновременно. Поостыв, Твардовский стал искать пути выхода из кризиса, и нашел их в том, чтобы ввести в редколлегию Чингиза Айтматова, Ефима Дороша, а молодого журналиста «Известий», моего друга Михаила Хитрова сделать ответственным секретарем. Мне Твардовский предложил исполнять обязанности Дементьева, даже если я не буду утвержден по всей форме Секретариатом Союза писателей. (Замечу в скобках, что так оно и случилось, и до самого конца нашей редакции я оставался и. о. заместителя главного редактора).

27 января 1967 года появились два грозных подвала в «Правде» «Когда отстают от времени». Еще прежде на разного рода совещаниях говорилось, что «Новый мир» и «Октябрь» — это две зловредные крайности. «Новый мир» пытается сделать далеко идущие выводы из критики «культы личности», «очерняет» действительность, замахивается на «легенды», а «Октябрь» вздыхает о прошлом, восстанавливает в правах фигуру Сталина и его идеологию. На принципе равновесия ударов — «направо» и «налево», принципе, отработанном в самые суровые годы борьбы с оппозициями, была основана теперь и критика двух журналов. «Христа тоже распинали вместе с разбойником», — невесело шутил по этому поводу Александр Трифонович.

Между тем трудности с цензурой все возрастали, и подписание каждого номера в печать становилось мукой. Был остановлен уже напо-

ловину отпечатанный роман А. Бека «Новое назначение», и типография понесла убытки, путив готовые листы «под нож». Не прошла цензуру верстка «Дневников» 1941 года Константина Симонова. Каждую следующую книжку журнала мы составляли как последнюю.

Так прошел 1967 год и наступил год 1968-й. «Пражская весна» сказала на нашем положении самым прискорбным образом. Литераторов стали бояться еще больше, всюду искали «неконтролируемый подтекст». Из апрельской книжки «Нового мира» сняли главы «Деревенского дневника» Ефима Дороша, ни один из материалов не остался без вымарок. Из майского номера сняли повесть Василя Быкова, требовали уничтожить (и уничтожили) уже отпечатанные листы с разоблачительной биографией Гитлера — «Преступник № 1». (Немного позднее эта книга Л. Черной и Д. Мельникова благополучно вышла в издательстве АПН.) В редакцию одна за другой стали наведываться комиссии райкома и горкома партии. Одну из них возглавлял главный редактор журнала «Городское хозяйство Москвы», который с трудом переключался к литературе от проблем водопровода и канализации. «Новый мир» снова был на краю, и Твардовский решил просить встречи у Л. И. Брежнева. Я был в его кабинете, когда раздался долгожданный телефонный звонок. Брежнев был благодушен, расположен, обещал встретиться после переговоров с арабским лидером Насером и ряда других неотложных государственных дел. Свидание откладывалось с недели на неделю и было перечеркнуто молча и окончательно 20 августа 1968 года, когда советские танки вошли в Прагу.

В сентябре 1968-го Твардовский почти не бывал в редакции, как бы постепенно приучал себя отстать от любимого дела. Он отказывался подписывать «воронковские бумаги», коллективные заявления, которые ему привозили на дачу из Союза писателей. Отговаривался болезнью. А в это время складывались такие стихи:

В чем хочешь человечество вини
И самого себя, слуга народа,
Но ни при чем природа и погода:
Полны добра перед итогом года,
Как яблоки антоновские, дни
Безветренны, теплы — почти что жарки,
Один другого краше, дни-подарки
Звенят чуть слышно золотом листья
В самой Москве, в окрестностях Москвы
И где-нибудь, наверно, в пражском парке.
Перед какой безвестною зимой
Каких еще тревог и потрясений
Так свеж и ясен этот мир осенний,
Так сладок каждый вдох и выдох мой?

Это в поэзии. А в жизни он с обычным своим великодушием и участливостью писал мне 15 октября 1968 года в Ялту, куда я с трудом выкарабкался наконец в отпуск:

«Рад, что Вы устроились и довольны как будто. Отдохнуть-таки Вам надо — последние месяцы главная тяжесть журнала была на Вашем горбу,— я это очень хорошо понимаю. Конечно, и другие наши люди молодцы и терпеливцы, худого слова не скажу ни о ком... О себе скажу, что со времени «событий» силы стали окончательно покидать меня, я начал приучать себя к мысли, что ничего уже не поделаеть,— так оно, должно быть, и есть. Во всяком случае, потеряв возможность с кем-нибудь «на этажах» «советоваться», искать защиты или хотя бы сочувствия, видя свое полное одиночество в этом смысле, я почти что сознательно избегал «тыркаться» в какие-либо двери и, может быть, как я уже говорил, это было отчасти к лучшему для журнала,— не навлекало на него добавочной дозы раздражения «этажей». Так я и в отпуск свой ушел, чтобы хоть не числиться это время, надеясь, что, может быть, развиднеет, но надежда эта все более меркнет».

Осенью 1968 года редакция стала получать недоуменные и возмущенные письма подписчиков, далеких от литературных дел. Спрашивали: что случилось с журналом, почему он так опаздывает? Читатели интересовались: будет ли подписка, или журнал уже закрыт? В некоторых областях усилиями местных руководителей подписка на «Новый мир» была запрещена. Так, не разрешили индивидуальной подписки на новый, 1969 год на родине Л. И. Брежнева в Днепропетровской области.

Наглядным свидетельством трудностей, какие переживал журнал, было и то, что № 5 за 1968 год вышел «тощим» — он потерял почти треть своего объема — 208 страниц вместо обычных 288. Зато шестой номер, по настоянию редакции, желавшей возместить ущерб подписчикам, оказался «толстяком» — 368 страниц как бы восполняли недобор предыдущей книжки. За полвека существования журнала такого, кажется, не бывало.

Июньская книжка опоздала на три месяца, декабрьский номер 1968 года подписчики получили лишь в феврале следующего, 1969-го. Ясно было, что журнал приговорен к смерти, и казнь его только отсрочена. Добиваясь публикации окончания повести Н. Воронова «Юность в Железнодорольске», против первой части которой в роновы организваны письма, должественствующие показать недовольство уральских металлургов «очернительством» автора, Твардовский говорил в те дни своим коллегам в Секретариате ССП: «Если вы хотите смерти журнала, то вы на правильном пути».

Так наступил 1969 год. Твардовский внутренне уже готовился покинуть журнал. Как-то с горечью сказал молодому ответственному секретарю М. Н. Хитрову: «Вы с нами недавно, может быть, это дело не так чувствуете, но когда столько лет прожито с журналом, трудно его оставлять». Из корректуры февральской книжки журнала были сняты очер-

ки Ефима Дороша, члена редколлегии, и стихи самого Твардовского, вошедшие позднее в поэму «По праву памяти». Там были строки:

Уже тот век не безответен,
Он так ли, сяк ли распочат.
Он приоткрыт отцам и детям,
И настезь будет для внучат.

Твардовский открыто, мужественно призывал к ответу сталинизм. Кто-то из пришедших в редакцию рассказал нам в те дни, что на одном из совещаний в Узбекистане Ш. Рашидов откровенно говорил, что к 1971 году «мы полностью реабилитируем Сталина». «Да, очень хотят обелить эту эпоху, а все же после XX съезда прореха такая, что ни зашить, ни заштопать», — отозвался на это Александр Трифонович.

В марте 1969 года в «Правде» появилась статья о повести Н. Воронова, прямо адресованная к редакции:

«Редакция «Нового мира» и ранее, — говорилось в статье, — подвергалась критике за публикацию ряда произведений, содержащих идейные ошибки, очерняющих нашу действительность». Таким образом подчеркивалось, что журнал упорствует в своих заблуждениях и новые «организационные выводы» неизбежны: заблуждающегося можно простить, но самый тяжкий грех — нераскаянность.

Ссылаясь на свежее решение об усилении ответственности редакторов журналов, К. В. Воронков пригласил в марте 1969 года Твардовского и без нажима, в тоне дружеского увещевания предлагал несколько «освежить» состав редколлегии: ввести в нее, скажем, писателя В. Чивилихина, критиков Лидию Фоменко, Льва Якименко. «Да я никого из них не знаю, ни по литературе, ни лично, — отвечал Твардовский. — Не буду же я жениться на девице, которую не знаю и не люблю». Дело затормозилось, но все мы понимали, что первый звонок к уходу прозвенел.

Твардовский почти физически страдал, когда ему приходилось в те месяцы ходить объясняться в какие-то «инстанции». После одного из таких визитов сказал: «Там двухтумбовый стол, как правило. И когда они с тобой разговаривают, то выражение такое, будто в правом ящике у них марксизм, в левом — ленинизм, а в среднем еще что-то поважнее — может быть, последние указания? У Маркса, кажется, я прочел недавно об ужасном состоянии общества, где все делятся на воспитателей и воспитуемых. Как же у нас любят «воспитывать»! И на всех уровнях есть воспитатели, а над каждым воспитателем еще свой воспитатель... О, как я их всех знаю!»

Между тем к концу апреля у Твардовского окончательно сложилась поэма «По праву памяти», и на одном из наших дружеских собраний он читал нам ее. Мы могли оценить ее ясную определенность и поэтическую силу: никакой уступки неправде.

Какой, в порядок не внесенный,
Решил за нас особый съезд
На этой памяти бессонной,
На ней как раз поставить крест.

Горечь и мужественная энергия были в его голосе, когда он читал о попытках вернуть все к прежнему:

...Тогда молчальники правы,
Тогда все прах — стихи и проза,
Все только так — из головы.

С этого момента для Твардовского и для всех нас судьба его последней поэмы сплелась с загоняемым в глухой угол «Новым миром».

В мае 1969 года К. В. Воронков предложил Твардовскому — хотя и без всякой категоричности — подать заявление об уходе. Первым порывом Твардовского было мгновенно уйти, хлопнув дверью. Но мы уговаривали его смирить порыв гордости. Не для того столько всего было пережито, чтобы теперь согласиться с уходом «по собственному желанию». Через две-три недели выяснилось, что никто категорически на уходе не настаивает, и вопрос снова повис в воздухе.

Однако давление со всех сторон возрастало. Приехал доцент из Ярославля, рассказал: уничтожен уже отпечатанный выпуск «Ученых записок» со статьей о «порочной» поэме «Геркин на том свете». Из издательства «Художественная литература» звонок: разобран набор 5-го тома собрания сочинений Твардовского, так как автор не соглашается на предложенные ему поправки. В редакции стали появляться странные люди. Один из них, попросив меня принять его наедине, шептал на ухо: «Предупредите Александра Трифоновича. Пусть осторожнее переходит улицу, возможен случайный наезд...»

Впереди было последнее «горячее лето». В начале июня поэма была сдана нами в набор и задержана — без вызова автора, без объяснения причин. Видимо, верстка ее гуляла по кабинетам.

21 июля Твардовский, оступившись, упал с крутой лестницы на даче, разбил голову, немного повредил шейный позвонок. В ту пору, когда он, выздоравливая, лежал в Кунцевской больнице, и началась массивная атака печати на «Новый мир».

Тон задал журнал «Огонек» со статьей «Против чего выступает «Новый мир?»», подписанной одиннадцатью литераторами. Начав с критики статьи А. Дементьева, авторы грозного письма отказывали журналу в советском патриотизме, народности и т. п. В поддержку «Огонька» мгновенно высказались «Советская Россия» и «Литературная Россия», областная газета «Ленинское знамя». «Социалистическая индустрия» 31 июля 1969 г. напечатала «Открытое письмо токаря М. Захарова главному редактору журнала «Новый мир» тов. Твардовскому А. Т.» — он требовал

ответа от Твардовского от имени рабочего класса: «...Руководители литературных изданий, видимо, должны держать ответ не только перед Союзом писателей, но и перед читателями. А то стоит рабочему высказаться по поводу литературы, как некоторые критики пишут: вы занимаетесь своим делом — сталь варите да хлеб сейте (это рабочий-то сеет хлеб?! — В. Л.), а уж литературу оставьте нам». М. Захаров извещал, что в прошлом уважал в Твардовском большого поэта, но как редактора его не одобряет и решительно солидарен с «Огоньком».

«Советская Россия» подошла к проблеме с другого бока, известив, что на сторону «Нового мира» встала газета «Нью-Йорк таймс». «Неужели главный редактор А. Т. Твардовский, коммунисты редакции и на этот раз не задумываются над тем, почему их позиция в литературе и общественной жизни вызывает столько радости в стане антисоветчиков, почему ни один другой печатный орган не пользуется таким «кредитом» у буржуазных идеологов, как «Новый мир», — писал Дм. Иванов (3 августа 1969 г.).

«Мы пережили страстную неделю — что ни день, то служба», — шутил Твардовский, когда я навестил его в больнице. А если говорить серьезно, то и тогда было ясно, что вся эта кампания — результат сознательного сговора с участием группы литераторов, «обиженных» «Новым миром», видевших в его существовании прямую угрозу своим интересам.

Мне было больно наблюдать, как сдал, постарел за последние месяцы Твардовский. Нервы его были на пределе, он начал страдать бессонницей, иногда поддавался вспышкам ярости, которые прежде легко гасил в себе обычной сдержанностью и юмором. Добываясь по телефону Воронкова, он услышал от его секретарши: «Константин Васильевич не может подойти, он заседает на комиссии по юбилею Туманяна». Глаза Твардовского побелели, и он сказал резко: «Нет уж, извольте позвать Воронкова. Туманян умер, а Твардовский пока еще жив». «Держишься на людях, не подаешь вида, — смущенно прокомментировал свою вспышку Александр Трифонович, — но все это ох как несладко... Да что мне вам объяснять».

Врачи уговаривали его не читать газет, предлагали погрузить в длительный сон-отдых на 24 часа. Твардовский только смеялся: «Кажется, кончится тем, что из хирургического меня переведут в психиатрическое отделение».

Уже в восемь-девять часов утра он обычно звонил мне из больницы — узнать, какие новости. Волновался по поводу нашего ответа «Огоньку». Набросанный мной текст он основательно выправил и дополнил. «Заметка и так хороша, но надо, чтобы была литая, — сказал он. — Если не дадут напечатать, будем друг другу вслух читать, как стихи... для самоуслаждения». И он рассмеялся, сидя на больничной постели.

Ответ «Огоньку» «От редакции» мы все же напечатали, хоть и с немалым трудом. Концентрированная атака на «Новый мир» летом 1969 года захлебнулась, но для нас это была, пожалуй, пиррова победа.

Осень для Твардовского ознаменовалась тем, что из его однотомника в издательстве «Художественная литература», выходившего в серии «Всемирная литература» выбросили поэму «Теркин на том свете». О поэме «По праву памяти» никто не вспоминал, но появились слухи, что текст поэмы неведомым путем оказался за границей и там его печатают без ведома автора. Все это сильно волновало Твардовского. Продолжались и нападки на журнал. «Огонек» выступил с очень резкой критикой партизанской повести Василя Быкова «Круглянский мост».

Запомнилось, что в те дни «Новому миру» прислал приветствие Бертран Рассел, из разных уголков нашей страны мы получали письма поддержки, иногда трогательные знаки читательского внимания в виде посылок с архангельскими пряниками, дальневосточными лесными орехами или краснодарскими яблоками. Посетивший редакцию в те дни английский литератор сказал: «Я вам завидую, у вас в России идут такие литературные бои, какие у нас были возможны только в XVIII веке!»

Но об этом хорошо читать потом, в книжке с картинками. Прожить это труднее. Накануне нового, 1970 года Твардовский сказал: «Как я постарел за этот год, страшно постарел внутренне... И все время думаю: как понять то, что произошло, происходит с нами. Мне все хочется утоптать, как сено на возу, увязать в одно, чтобы не сыпалось». Он никак не мог смириться с тем, что неправда берет верх, что ничего нельзя доказать, ни к кому нельзя достучаться.

С ноября циркулировали слухи, что где-то «в кабинетах» вызрел план: убрать из редакции А. И. Кондратовича, И. И. Виноградова, И. А. Саца и меня — тогда, мол, Твардовский сам уйдет. Имея это в виду, Твардовский говорил Соколову-Микитову: «Корабль получает страшную пробоину. Вероятно, придется открыть кингстоны». В декабрьском номере должна была идти моя статья «Мудрецы» Островского — в истории и на сцене». Я сильно за нее опасался. Последние годы ни одна из моих работ не проходила, не ободрив бока. И вдруг статью подписали без замечаний, по указанию важного лица, заметившего вскользь: «На прощанье. Все равно он уходит».

Так мы встретили новый, 1970 год. Как-то мы сидели в кабинете Твардовского. Зашел Троепольский, потом Гранин. Разговоры не вязались, неведомо почему повисали долгие паузы. Твардовский сказал: «Вам не кажется, что мы говорим так, будто в доме покойник? Собрались, как это принято, посидеть вокруг него и переговариваемся тихо».

Последний подписанный нами номер, № 1 за 1970 год, вышел в свет подозрительно быстро и беспрепятственно. Твардовский, не получивший ответа на два предыдущих обращения к Брежневу, решил писать ему третье, последнее письмо. Он хотел говорить в нем о журнале и о поэме. «Я готов отвечать в ней за каждую строчку — на Секретариате

Союза писателей и, если бы это было возможно, на Политбюро». В первых числах февраля стало ясно, что какое-то решение принято. Твардовский звонил по разным телефонам, но в руководящих кабинетах все будто вымерло. «Какая-то стена. Мафия», — вырвалось у него.

9 февраля 1970 года состоялось решение Секретариата СП, на котором в редколлегию ввели в качестве первого заместителя главного редактора Д. Г. Большова, прошттрафившегося прежде на телевидении, О. П. Смирнова, В. А. Косолапова, А. Е. Рекемчука, А. И. Овчаренко. От своих обязанностей были освобождены А. И. Кондратович, И. И. Виноградов, И. А. Сац и я.

Вызывающим, беспрецедентным было не только насильственное, против воли главного редактора, освобождение многолетних его сотрудников, но назначение людей, с которыми Твардовский заведомо не согласился бы работать. Как раз незадолго до этого А. И. Овчаренко клеймил «По праву памяти» как «кулацкую поэму». Твардовский заявил, что он уходит, и 24 февраля его отставка была окончательно принята.

«Новый мир» идет ко дну,
Честь и совесть на кону —

такие строчки записал он в эти дни.

Его письмо-протест пришло к Брежневу с опозданием. Высокий адресат навел справки... и решил не отвечать. Разгон «Нового мира» был санкционирован М. А. Сусловым.

Еще 20 февраля Твардовский обошел всю редакцию, поднявшись в корректорскую и к техредам, всем жал руки, прощался, благодарил за доброе сотрудничество.

Вечером того же дня в моей квартире на Страстном бульваре мы собрались почти полным составом редколлегии. Твардовский говорил первый тост. Он сказал, что удачлив в жизни. Что работа в журнале — это вторая (после лет войны и «Теркина») счастливая полоса в его судьбе, когда он твердо знал, что дело его нужно всем или по меньшей мере многим людям. Он говорил, что за эти годы в журнале он учился у всех своих товарищей, соредкторов, сотрудников, и всех благодарил. Я произнес ответный тост — за Твардовского. Потом встал за столом А. Г. Дементьев, оказавшийся в этот вечер с нами. Едва он начал говорить, как заплакал по-стариковски. Но, справившись с волнением, сказал все же очень хорошо о том, что журнал жил для страны, народа, для его будущего, а значит, несколько пышно говоря, идеи «Нового мира» победят.

Тогда же постановили: собираться ежегодно в этот день, 20 февраля, до последнего оставшегося в живых члена той редколлегии. Многие годы так и было, но уходили в вечную тень один за другим Дорош,

Марьямов, Сац, Дементьев, Кондратович, Герасимов. А Твардовский не мог быть уже и на первой нашей годовщине.

Наш костер, по его же слову, разбросали как головешки, чтобы огонь не горел. Свет и тепло того костра не забыты и через два десятилетия.

«НА ДНЕ МОЕЙ ЖИЗНИ...»

В письмах читателей, телефонных звонках, встречах со знакомыми и незнакомыми людьми Твардовский что ни день мог обнаружить бесчисленные подтверждения своей народной славы, поклонения ему множества людей. Но при этом сохраняя, пусть это не прозвучит банально, поразительную скромность. Не скромность для виду, напоказ, как бывает иногда у людей, балованных известностью, но тайную застенчивость, основанную на требовательной самооценке. Все, что выделяло его среди других людей и отделяло его от них, при мало-мальски доверительном разговоре сметалось им как ненужная преграда.

Я царь, я раб, я червь, я Бог...

Он не любил подчеркивать некое особое положение поэта в ряду других профессий и состояний. Дивился, когда средней руки литератор представлялся при знакомстве: «Поэт такой-то». Никто никогда не слышал, чтобы он сказал в телефонную трубку: «С вами говорит поэт Твардовский». Вспоминал со смехом, как в армейской газете машинистка, перепечатав однажды его стихи, подписала внизу по своей инициативе. «А. Твардовский, поэт». А когда он вычеркнул слово «поэт», возмутилась: «Так тогда всякий может стихи писать».

Простодушный старичок-шофер, возивший А. Т., сказал мне как-то, с разочарованием понаблюдав его жизнь — с дачи в редакцию, из редакции на дачу: «Скучно живет». Я поинтересовался: почему? «Никуда не ездит. Гостей, смотрю, у них не бывает... Я бы на его месте пожил в свое удовольствие. Ведь каждый день — к смерти ближе».

То, что для кого-то другого могло показаться делом благополучия или престижа, то есть внешними атрибутами бытия, он считал частью своей личной жизни. Так относился он и к журналу.

Один корреспондент, добившийся у Твардовского согласия на интервью (это был редкий случай, А. Т. не любил давать интервью), забросал его вопросами о его творчестве. Твардовский отвечал коротко и неохотно. В заключение корреспондент сказал неосторожно: «Спасибо, достаточно о творчестве, скажите мне в заключение несколько слов о журнале». А. Т. посмотрел на него в упор и сказал раздельно: «Журнал — это тоже мое творчество».

Как-то Твардовский заговорил о том, что каждый из нас станет делать, когда, рано или поздно, мы покинем редакцию и разойдемся в разные стороны.

— Ну, вы университетский человек, не пропадете,— говорил А. Т.,— пойдете преподавать, наверное... А я... Как вы думаете, мог бы я преподавать русскую литературу где-нибудь в пединституте? Ну, не здесь, в Москве, а хотя бы в провинции? У меня все же филологическое образование.

Сказано это было всерьез, как обдуманное, и не для того, чтобы его опровергали.

— Вот Уланова оттанцевала,— продолжал А. Т.,— теперь учит детей в балетной школе. Так и нам, наверное, надо.

Иногда же мечтал целиком отдаться личной литературной работе, «а то возделываешь общественную ниву, а приусадебный участок запустил». Когда мы отметили его шестидесятилетие, говорил, что рассчитывает еще «на десять хороших рабочих лет». В его столе остались лежать многочисленные рукописи, начатые и неотделанные стихи, последняя поэма, начала и планы прозаических работ. Всю жизнь он мечтал написать автобиографическую книгу «Пан Твардовский», затевал большой рассказ или повесть «Изба на полозьях».

Он говорил, что серьезный писатель не должен стремиться мгновенно публиковать все им написанное, что-то и «про запас», для раздумья оставлять надо. Дурной знак, считал он, когда после смерти автора наследники хватать-похватать, а все ящики письменного стола пусты — он всем до крохи распорядился при жизни...

С А. Т. не могло так случиться, и вот уже почти два десятка лет появляются все новые публикации из его архива, старательно подготовленные его вдовой Марией Илларионовной.

Как зарок и завет звучат четыре строчки, написанные им, по-видимому, вскоре после ухода из журнала. Я прочел их, когда его уже не было в живых, на обороте календарного листка:

Как сделать, чтобы жить с умом,
Со вкусом и охотой?
Найти себя в себе самом
Однажды за работой.

* * *

Вновь и вновь вспоминаю его в последние дни, что видел его в редакции. Как всегда в его кабинете — нетолченная труба народу. Он сидит, грузный, постаревший, в своем кресле. Седые поредевшие прядки еще на моей памяти светло-золотых, густых волос откинута со лба.

Звонит телефон. Он поднимает трубку. Не с его впечатлительностью, видно, воспринимать то, что он сейчас слышит. Я смотрю за его

лицом, пока идет разговор, и тысяча выражений сменяется на нем в одну минуту: внимание, растерянность, гнев, угроза, презрение, смех — все это мгновенно проходит в глазах — голубых, могущественных и беспомощно-детских.

Положив трубку, он обращается к нам, и уже собран, крепок, «отмобилизован»:

— Давайте говорить, что завтра утром будем варить.

И комната оживает. Бросает острую реплику И. А. Сац, Твардовский мгновенно откликается на нее, вздох облегчения, и все смеются.

Может быть, в эти дни или чуть раньше перечитывал он древнегреческих лириков. Впоследствии Валентина Твардовская, старшая дочь А. Т., разыскала в библиотеке эту книгу, и выписала мне элегию Феогнида из Мегарп, особо отмеченную при чтении ее отцом.

Дух мой, терпи и мужайся, хоть боль твоя выше терпенья.
Ведь не раба у меня жалкое сердце в груди.
С непоправимой обидой сдружившись, напрасно не сетуй!
Боли слезами не множь! Горем друзей не томи!
Горем не радуй врагов! Не легко человеку избегнуть
Роком сужденных дорог, посланных богом даров.

...Снова телефон, на этот раз междугородный. Дружеский, сочувственный голос Аркадия Кулешова из Минска. Поговорив с ним, А. Т. обращается к нам:

— Он мне дудит в трубку: «Здоровье!.. Главное, здоровье береги!..» Здоровье... А честь и совесть беречь не надо?

Все это застыло в глазах, будто было вчера. И, вспоминая его в те дни, я отчетливо понимаю, что одним своим присутствием в литературе Твардовский помогал создать в ней особый моральный климат. Многих он воодушевлял и поддерживал, иным помогал удержаться от пустого, поверхностного или криводушного слова. Всякий чувствовал на себе: чего-то нельзя было сказать или написать, зная, что он может это услышать, прочесть. И неизбежно было тянуться за ним на крутой, высокий гребень требований, какие он ставил искусству.

* * *

Болезнь свою он долго не хотел признать, хотя все лето 1970 года, когда по его желанию совсем скромно, в дружеском и семейном кругу было отмечено его шестидесятилетие, уже чувствовал себя нездоровым.

Он привык ощущать себя сильным, крепким, не нуждающимся в чужой помощи и утешении. Да и в самом деле был человеком несокрушимого физического и нравственного здоровья.

Один из друзей художника Владимира Васильевича Лебедева рассказывал с его слов, каким запомнился ему Твардовский в конце войны.

Сара Лебедева лепила тогда свой замечательный бюст Твардовского (теперь он в Третьяковской галерее), и Лебедев встречал А. Т. в ее мастерской. Однажды после сеанса Лебедев предложил ему побороться, кто — кого. Владимир Васильевич смолоду увлекался французской борьбой, был профессиональным рефери на ринге, но с изумлением рассказывал потом: «Какой богатырь! Он же приемов не знает, а сопротивляется. Мне сопротивляется!»

Иван Сергеевич Соколов-Микитов любил вспоминать, как на утренней прогулке в Карачарове, в старом гагаринском парке, А. Т. заметил сломанный дубок и решил выкорчевать его, чтобы поправить неполадок. Качал-качал, дубок не дается. «Брось, Александр Трифонович», — говорит ему Соколов-Микитов. Нет, не бросает. На другое утро, только на прогулку вышли — он опять за дубок, и так тянул его, пока не выдернул. Сила его и упорство восхищали Ивана Сергеевича.

В последнее лето в глазах Твардовского поселилась особая печаль. «В деревне говорят: задумываться стал. Вот и я стал задумываться», — горько пошутил он однажды.

Стихов он уже не писал, с середины лета забросил и дневник. Последнее, что его еще занимало, — письма читателей, полученные к 60-летию, да новенький двухтомник, который он охотно рассылал поздравившим его людям. И вдруг сказал мне в июле:

— Ничто меня не занимает. Ни письма, ни собака, ни компостная яма... — И усмехнулся невесело. («Усовершенствование компостной ямы» на участке было в его устах всегда символом серьезного, дельного занятия.)

Теперь я припоминаю, что тогда же в разговорах с ним стала чаще возникать тема смерти, притом в разных поворотах, будто он хотел примериться к ней. Одному другу, легко рассуждавшему о неизбежном конце, сказал: «Да, ко всем придет... А не запищишь?»

В то лето внезапно скончалась Елена Сергеевна Булгакова, с которой он был знаком. Она умерла внезапно, можно сказать, счастливо, в одночасье, и я рассказал об этом Твардовскому.

— Нет, — неожиданно возразил А. Т., — внезапная смерть не счастливая. Я не бог весть какой мужественный человек, но хочу знать, когда умру. Не для завещания, нет. А просто не согласен, когда говорят: счастливая смерть — кирпич на голову упал, человек и подумать не успел. Как Иван Сергеевич пишет в последнем письме: «Чую, что она близко».

То, о чем он думал еще со времен войны и что написал в главе «Смерть и воин» в «Василии Теркине», то, о чем с победной иронией рассуждал в «Теркине на том свете» («Смерть — она всегда в запасе, жизнь — она всегда в обрез»), то, что он замечательно, но все же несколько со стороны определил в статье о Бунине, придвинулось к нему, как личная неизбежность.

Зайди ко мне в августе с похорон Николая Робертовича Эрдмана, он сказал нечто прямо противоположное тому, что я месяц назад услышал от него:

— А еще рассуждают, что нету тайн. Разве это не великая тайна, что человек не знает ни дня, ни часа своей смерти? Если б знал, жизнь стала бы невозможной.

30 августа он позвонил с утра и звал меня в Сандуны, а после бани мы в последний раз — с нами был еще И. А. Сац — сидели в ресторане на Петровке и скучно пили холодное сухое вино. А. Т. выпил один бокал и отставил в сторону. Разговоры были тихие, усталые. Помню, он рассказывал, что перечитывает басни Крылова и восхищается их не угасшей за полтора десятка лет злободневностью. Вдруг пожаловался, что болит нога, и рука плохо работает: «Надписываю адреса на бандеролях, по две бандероли за день — и баста». Было заметно, что он тяжело дышит (врачи говорили: эмфизема курильщика) и трудно, тяжело откашливается.

17 сентября он еще появился на собрании в Союзе писателей, сидел не в президиуме, а в зале, неподалеку от меня. В перерыве к нему подошли со всех сторон литераторы. «Как живете, Александр Трифонович?» «Как в наши годы», — отвечал он и проходил сквозь возбужденную, гомонящую толпу не задерживаясь.

С собрания мы пошли не спеша на Смоленскую площадь к И. А. Сацу. По дороге, на Новом Арбате, к радости А. Т., купили в магазине грампластинок запись «Теркина на том свете» в его чтении. У Саца пили крепкий чай из больших чашек. А. Т. уже и курить бросил, к рюмке не прикоснулся. «Зарез», — только и сказал он на наши расспросы о здоровье. Мы советовали ему лечь на обследование, но он отметал все эти разговоры, мгновенно начинал гневаться и объяснял, что ждет места в «Барвихе», в санатории-де его и подлечат.

Отвлекаясь, повеселел, лишь когда стал вспоминать своего приятеля, давнего деятеля ЛОКАФа. «Этот человек более всего на свете любит петлички, лычки, ордена... Есть такой разряд людей: он обожает военную службу в мирное время». В рассказе А. Т. его приятель выглядел разнообразностью солдата Швейка: хвастливый, практичный, обаятельный, наивный и ловкий одновременно. «И главное, убежден в своем личном бессмертии. Если даже бомбу атомную бросят и все вокруг сметет, а Шебашевский тупик, где его дом стоит, цел и невредим».

Спустя два дня, в ясное сентябрьское воскресенье, А. Т. работал в саду. Ему хотелось перенести в другой конец участка кусты смородины или малины, и целый день он их выкапывал, отвезил на тачке к новому месту и помещал в заготовленные прежде ямки. Задышался, чувствовал боль в ноге, но упрямо делал свою работу.

Хоть про сейчас, хоть про запас,
Но делать так работу,
Чтоб жить да жить,

Но каждый час
Готовым быть к отлету
И не терзаться — ах да ох —
Что, близкий или дальний, —
Он все равно тебя враспloch
Застигнет, час летальный...

— это из стихотворения 1969 года, одного из последних его стихотворений.

В понедельник, 20 сентября, выйдя на кухню, чтобы поставить чай, он вдруг обнаружил, что не может поднять чайник с водой. Думал, что отлежал руку, и ни за что не хотел вызывать врача. А в среду уже лежал в больнице на улице Грановского с частичным параличом правой стороны тела, затрудненной речью.

Казалось, хуже этого не может быть: Твардовскому — и потерять возможность говорить, да еще руку, которой пишешь! Мысль о руке, о том, как он будет писать, и мучила его первое время больше всего. Но спустя две недели врачи установили, что у больного вдобавок запущенный рак легкого, и дали понять близким, что жить ему остается считанные недели.

Он будто напорочил себе это в стихах:

Нет, лучше рухнуть нам на полдороге...

Он сделан был на сто лет, а рухнул разом, плашмя, всей массой, будто подкошенный понизу острой косой.

Но не так легко было победить его богатырское тело. Вопреки всем консилиумам и безнадежным прогнозам А. Т. прожил еще год и три месяца, по-теркински упрямо сопротивляясь смерти. Сколько раз, бывая у него в больничной палате, я напоминал ему:

Кабы мне глоток-другой
При моем раненье,
Я бы, может, ни ногой
В ваше заведение...

и он слабо улыбался в ответ.

Это была уже не жизнь, а житие — с вереницей сменяющихся врачей, лекарств и методов лечения, краткими проблесками надежды, возвращениями из больницы домой — и снова в больницу. Смерть постепенно овладевала им, выматывая в долгом и предрешенном поединке.

Первое время он еще говорил свободнее, рассказывал сон: видел во сне свое собрание сочинений в двадцати томах, потом свой кабинет на даче с книжными полками, а проснулся — узнал стены палаты и долго

в себя не мог прийти от горя. В другой раз, что видел во сне Карабиху, куда он собирался поехать в некрасовский юбилей, — белый дом на холме с зеленой сквозной башенкой над тихой Коростелью.

Я навещал его в эти месяцы болезни каждую неделю, иногда и чаще. На даче он сидел обычно в большой комнате с камином, в кресле с пологой спинкой. Ноги его были укрыты пледом, больная рука лежала на коленях, и он смотрел в большое, во всю стену окно — на дорожку, шедшую наискосок от калитки. Будто ждал кого-то.

Он сильно изменился, похудел, осунулся, а после курса облучения заметно поредели волосы на голове. Последнее время один седой клочок свисал на пустом куполе высокого лба, немного напоминая Тараса Бульбу. Он был тих, слаб и светел, как ребенок, а выцветшие голубые глаза его — доверчивы и несчастны. Пытался сказать что-то — выходило с трудом. «Мечется... — говорил он. — Мечется...» Слово мечется, а его не схватишь.

Но поразительно, как цельно было до конца его нравственное сознание. При нем я старался говорить и вести себя так, будто ничего не случилось, и мы по-прежнему, по-бывалому беседовали не спеша: передавал свежие новости, передавал впечатления от прочитанных рукописей и книг. Он слушал внимательно, с видимым участием, кивал, пытался ответить что-то. Иногда произносил два-три внятных и точных слова, потом, не сладив с концом фразы, замолкал. Но не было случая, чтобы он спутал нравственные акценты. Слушая о людях и обстоятельствах, ему знакомых, он эмоционально реагировал на все точно так, как и до болезни: сердился, презирал, любил.

По неотступной просьбе Ольги Берггольц я привез ее однажды к нему в Пахру. Она пробовала говорить с ним тихо и ласково, а едва мы вышли за дверь, расплакалась и сказала хрипло: «Это не он. Его нет».

А для меня — до конца, до последнего часа, что я видел его, он оставался в чем-то самом существенном тем же, что был всегда. Несчастный, слабеющий, подмятый безысходной болезнью, а все тот же Трифонович — с его молчаливым мужеством, серьезностью, интересом к жизни, деликатностью, жадной добрых вестей. Пусть все это приглушено в нем слабостью и страданием, но все это есть, и природа его личности ничуть не переменялась. Как точно понимает и отвечает он улыбкой на шутку, а однажды вдруг от души рассмеялся. И на прощанье с трудом сложил слова: «У вас... все... хорошо?» Как всегда, ни жалобы, ни слова о себе. Скажешь: «Больно, Александр Трифонович?» «Больно», — подтвердит он. Или произнесет как бы даже изумляясь: «Не-е-ет». И уже едва говорит, а хочет быть внимательным. Пыгается сделать знакомый мне, как бы приглашающий жест, разводя руками в стороны (правая не слушается) и благодарит одними глазами.

28 ноября 1971 года я приехал на Пахру, когда он уже не мог долго сидеть и больше лежал в постели. Днем заходил К. М. Симон — и, потерянный, расстроенный, вскоре ушел.

Я сел на уголок дивана, где он лежал, он взял мою руку — теплую в его большой холодной — и долго не отпускал, будто согревался. Время было прощаться. «До свидания, — говорю, — Александр Трифонович, до свидания, милый», — а он все не отпускает руки. «Скоро непременно к вам приеду, до встречи», — сказал я. Он слегка приподнял голову с подушки и с трудом вымолвил непослушным языком. «До счастливой встречи». И повторил, как будто со значением, делая ударение на слове «счастливой»: «До счастливой встречи». Мне показалось, что он прощается со мной, как прощаются навсегда.

Я видел его еще однажды за пять дней до смерти, 12 декабря 1971 года. Он лежал неподвижно на диване под рисунком Пикассо, изображавшим испанскую корриду. Ему уже тайком кололи наркотики. Я помог ему повернуться на бок. Он посмотрел на меня печально и серьезно. Говорить было уже не о чем. Его мучили боли. «Устал, Александр Трифонович?» — спросил я. «Устал, устал», — повторил он дважды, будто довольный, что я понял его.

А темным декабрьским утром меня разбудил ужасный, давно ожидаемый звонок. Примчавшись в Пахру на машине с Олей и Валей, дочерьми Твардовского, я увидел его неподвижно лежащим под простыней. Увидел его спокойное, помолодевшее, бледное лицо с чуть заметной улыбкой в углах губ. Была оттепель, березы стояли в инее, била из-под колес рыжая, подтаявшая грязь, когда мы везли в больничный морг то, что еще недавно было А. Т.

Нет, был бы он невыносимо страшен,
Удел земной, не будь всегда при нас
Ни детства дней, ни молодости нашей,
Ни жизни всей в ее последний час.

Твардовский родился в самый длинный, светлый летний день в году. Хоронили мы его в самый короткий день года, 21 декабря, когда ночи долги, поздно светает и едва ли не с полудня начинаются зимние сумерки.

СОДЕРЖАНИЕ

Утренний час	3
Так было	4
За редакторским столом	11
«Луч словесный»	21
Труд мысли	23
Из журнальной хроники	26
«На дне моей жизни...»	39

ЛАКШИН Владимир Яковлевич
ТВАРДОВСКИЙ В «НОВОМ МИРЕ»

Редактор О. Н. Хлебников

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 4.03.89. Подписано к печати 12.05.89. А 08850. Формат 70 × 108^{1/2}. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Учетно-изд. л. 3,08.
Тираж 150 000 экз. Заказ № 323.
Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865. ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

● ПРОКАТ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Если Вы решили обучить ребенка игре на музыкальном инструменте и не уверены, будет ли он серьезно заниматься, советуем для начала взять этот музыкальный инструмент напрокат.

Салоны и пункты проката предлагают баяны, гармони, рояли, пианино, скрипки, гитары, электрогитары, балалайки.

Если дома негде поставить пианино, можно воспользоваться почасовым прокатом в специально отведенном для этого помещении.

«БЫТРЕКЛАМА»